

Мария
Метлицкая



Вечный запах
фиалок

Мария Метлицкая
Вечный запах
флоксов (сборник)
Серия «Женские судьбы. Уютная
проза Марии Метлицкой»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=9360164

Вечный запах флоксов: сборник / Мария Метлицкая: Эксмо; Москва;

2015

ISBN 978-5-699-79484-3

Аннотация

Что такое счастье? Большинству кажется, что счастье – это что-то особенное. Оно обязательно наступит, только надо дождаться. А обычная жизнь – репетиция, подготовка к той самой счастливой жизни. И только немногим дано уже в молодости понять, что счастья не надо ждать, его надо искать в самых простых вещах: в солнечных лучах, которые тебя будят по утрам, в звучании любимых мелодий, в смехе ребенка. Мир на самом деле состоит из счастливых мужчин и женщин, которые каждый вечер встречаются за ужином у себя на кухне, разговаривают и пьют чай, строят планы и смотрят телевизор, проверяют уроки у

детей и решают кроссворды. Они знают, что их ждут и что они нужны. Это и есть счастье.

Содержание

Соленое Черное море	6
Конец ознакомительного фрагмента.	88

Мария Метлицкая
Вечный запах
флоксов (*сборник*)

© Метлицкая М., 2015

© ООО «Издательство «Эксмо», 2015

* * *

Соленое Черное море

Мария смотрела на дочь, едва скрывая презрение и брезгливость. От этого ей было даже слегка неловко, но... Ничего поделаться с собой она не могла. Бестолковая дочь вызывала именно такие чувства. А еще – жалость и разочарование.

Люська же сидела у окна замерев, почти не дыша, вытянув тонкую белую шею. Пожалуй, не было такой силы на свете, которая оторвала бы ее от этого занятия. Впрочем, это было не то чтобы занятие – это был смысл Люськиного существования. Поджидать *этого*.

Днями, ночами – как уж сложится. А складывалось по-разному. *Этот* – а иначе Мария его не называла – мог явиться и поздно вечером, и далеко за полночь. А мог и «утречком», как говорил он сам. То есть часов в семь, особенно по выходным, когда все приличные трудящиеся люди имеют право на заслуженный сон. Загадывать было сложно.

Этот – по паспорту Анатолий Васильевич Ружкин – был хозяином своей жизни. Да ладно бы своей... Он был хозяином и ее жизни, Люськиной, – жалкой, животной, убогой, – вот в чем беда!

Люська жила от прихода до прихода Анатолия Ружкина. А в промежутках как будто спала. Вот и сейчас, услышав стук подъездной двери, чуть привсталала, вся подалась вперед, на

шее набухли голубые вены, белую кожу залила яркая краска и... Она застыла.

В дверь никто не позвонил. Люська снова опустилась на табуретку, и алая краска моментально сошла с ее острого, худого, измученного лица. Теперь она была мертвенно-бледной – побелели и сжались в полоску даже тонкие Люськины губы.

Мария встала со стула, громко крикнула и шарахнула чашкой об стол.

Люська вздрогнула, глянула на мать и тут же отвела отсутствующий, почти неживой взгляд.

Мария тяжело подошла к окну и задернула занавески. Люська метнулась и занавески отдернула.

Мария встала над дочерью, уперев руки в бока, – крупная, почти огромная, – она возвышалась над тощенькой, хилой Люськой, и ее взгляд не обещал ничего хорошего.

Тихо, почти умоляюще, дочь произнесла:

– Мама! Пожалуйста, не надо!

Мария громко вздохнула, со стуком передвинула стул и, болезненно скривившись, махнула рукой.

– Ну, валяй, бестолковая! Ты ж у нас на помойке найдена!

Люська тоненько завывала, и Мария, тяжело перебирая полными больными ногами, вышла из кухни прочь.

Ничего не поделаешь, только последнего здоровья лишишься. Слабая эта дурочка – ни характера, ни гордости, ничего от Марии. Ветром сдувает – сорок три кило удельно-

го весу. А ведь уперлась!

И кто бы подумать мог! Вот чудеса. Не прошибешь и не сдвинешь. Вот она, кровь Харитиди!

Только бы не для этого случая... Вот в чем беда.

Мария вошла в комнатку и тяжело опустилась на стул. Ходить тяжело, дышать тяжело, жить тяжело. Все тяжело. Такая тоска на сердце... Хоть волком вой. И такая тоска от бессилья – ничего не может исправить, ни на что повлиять. Всю жизнь все могла, а тут... словно лишили ее, Марию, ее магической силы. Со всеми бедами справлялась, как бы ни было тяжело. А Пигалица эта, сопля килограммовая. Всю жизнь – мамочка, как скажешь, мамочка, как ты хочешь!

А тут рогом уперлась, и хоть бы что. Ни страдания материны, ни сплетни, ни пересуды по городку – ничего не берет эту дуру. Как опоили!

Мария ходила к гадалке – живет такая ведьмака в соседнем поселке. Чистая баба-яга. Злая, резкая, зыркнет – сердце падает в пятки. Марию так просто не купишь – взгляд ведьмакин вынесла, не моргнула. Не на ту напали! Ведьма это почувствовала и даже предложила чаю. Мария отказалась – чай пьют с друзьями и с соседями, а я тебе, старая, деньги принесла. Да и не до чаев мне, беда у меня большая.

Ведьма прищурилась и рассмеялась неожиданно молодым и звонким смехом.

– Вот это беда? Глупая ты! – А потом грустно добавила: – С таким тут приходят, а ты....

Как укорила – время вроде бесценное отнимаешь.

Не понять ей – бездетная. Не понять, что, когда твое дитя пропадает – для матери это *горе!* И неважно, от чего пропадает это самое дитя!

Но – деньги-то плачены! – карты раскинула, кофе черный заварила, выпить заставила. Долго изучала дно чашки, а потом, вздохнув, объявила:

– Никакого приворота тут нет. Да и кто его сделает, если не я? А ко мне «по данному вопросу никто не заявлялся». А что «присушил» – так это бывает! – она хитро прищурилась. И снова дробно и звонко расхохоталась: – А у тебя что, такого не было?

Мария устало махнула рукой.

– Да при чем тут я? Не обо мне речь! Моя жизнь прошла! А тут – дитя! Единственное! Рожденное поздно, я уже и не ждала! Нет больше горя для матери, чем вид горемыки-ребенка!

Ведьма посерьезнела и строго спросила:

– Горемыка, ты говоришь? А вот это, милая, не тебе решать!

Разозленная Мария, не попрощавшись, пошла к двери.

Гадалка крикнула вслед:

– Деньги свои забери! Не было у меня с тобой работы!

Мария, не обернувшись, махнула рукой.

– Да подавись ты! Будешь еще мне указывать!

– Советовать! – поправила ведьма. – Не лезь в это дело.

Ничего у тебя не выйдет, – тихо добавила она. И твердо повторила: – Ничего! «Любовь» это все называется. Поняла?

Мария вышла во двор. «Ну а вот это мы еще посмотрим! Видели мы таких. Умных и прозорливых».

Только громко хлопнув калиткой и спустившись по улице вниз, она остановилась отдышаться. Чертов вес, чертово наследство. Чертовы гены.

Чертова жизнь! Мать рождает дитя на счастье! А видеть, как гибнет ребенок...

Нету чернее горя. Нет.

* * *

Если подумать, вся жизнь Марии была сплошным испытанием. С самого детства.

Мать ее, красавица Татьяна, утонула, когда девочке исполнился год. Родилась на море, прожила всю свою короткую жизнь на море и – утонула. Местные тонули нечасто – только если по пьяни. А молодая женщина была трезва как стекло. Говорили, мол, сердце больное. Какое больное в восемнадцать лет? Отец, Харлампий, обожавший жену, к дочке не подходил лет до трех, отдав ее на воспитание своей старшей сестре, Марииной тетке Христине.

Тетка была задерганной, нервной – своих трое по лавкам, а тут еще и чужая девочка. Ну, не совсем чужая... Только Таньку, свою невестку, она не любила. Считала, что околдо-

вала брата белобрысая стерва. Вот ее бог и наказал. Грешно так говорить, а ведь правда!

И невесту уже брату сосватали – из Краснодара привезли. Хорошая семья, не нищие, да и невеста с лица приятная. Из своих, из греков. А тут она, соседushка, подвернулась. Весь поселок за ней табуном – как с ума посходили. И братец первый. Высох весь, почернел. Потом поженились – не свадьба была, а поминки. Все Харитиди рыдали. Любимый сын, гордость родителей, а тут такое!

Шалава безродная. Нищая. Правда, красавица – ничего не скажешь. Волосы спину закрывают, глаза голубые. Тошная, однако. Какая из нее работница? Смешно. А уж про семью и говорить нечего – папаши нет как не было, а мать, Зойка, на приеме стеклотары – с утра глаза зальет, и анекдоты с матюками на всю улицу. Хороша родня! Врагу не пожелаешь. Танька-то, правда, тихая была, не скандальная. И мамыши своей стеснялась.

Только все это утешение слабое. И простыня в крови после первой брачной ночи – как положено у честных людей – тоже.

Чужая. Чужее не бывает. Хлопотливые сестры Харитиди весь день у плиты, у корыта и при детях. А эта? Ни косые взгляды, ни замечания старших ее не беспокоят. Сядет под черешней на лавочке и – читать. Книжки замусоленные – из библиотеки. Про любовь, не иначе. А этот дурак с работы придет и поесть забывает – сядет возле нее и по ручке гладит.

А сестры и невестки судачат, перешептываются. А в душе завидуют! Никому из них не выпало такой любви и такого счастья. Ни одной! Вот и злобствуют – черные, как галки. Волосы жесткие, словно проволока. Носатые. И волосам ее шелковым завидуют – текут по спине как река, переливаются. А Харлампий эти волосы гладит и рукой перебирает. Огромной своей черной ручищей, взглянешь – и то страшно.

Не приняла родня молодую жену Харлампия. Ни красавицу жену, ни веселуху тещу. А теща и вправду была развеселая. Особенно после стакана. Нет, горькой пьяницей Зойка-приемщица не была. А вот выпить любила. Пила сладкий портвейн «Южный», закусывая подгнившим персиком. Когда-то и Зойка считалась красавицей... Правда, до дочки ей было как до луны. От кого родила она Таньку, Зойка, похоже, и сама не помнила. А шлейф ее молодых загулов все тянулся и тянулся, падая черной тенью на репутацию дочери. Да и сейчас у Зойки было полно кавалеров. Правда, таких, что и говорить не стоит. Домишко Зойки стоял аккуратно напротив огромного, крепкого дома Харитиди – одна улица, утопающая в зелени пирамидальных южных тополей, душистой акации и нагло выпирающих из-за заборов разлапистых георгин и разноцветных душистых флоксов.

Домик Зойке достался от родителей, сбежавших после войны из голодного Поволжья. Уже тогда, в далекие пятидесятые, домик был неказист и продуваем острыми и колючими зимними ветрами. Старик-отец, громко стучавший де-

ревянным протезом по мостовой, хозяйство свое нехитрое еще как-то поддерживал, а как помер, так все и развалилось. Зойка в загулах, бабка, Зойкина мать, старуха.

Однажды Зойка исчезла – говорили, ушла с проходившим мимо цыганским табором. Правды никто не знал, и спустя полгода Зойку «похоронили». А еще через пару недель «покойница» вернулась – пузатая – и в срок родила дочь. Вот только на цыганку белобрысая Танька была нисколько не похожа.

Растила Таньку полуслепая бабка. Да как растила – и смех, и грех. Сидела девчонка в кустах и ковырялась в головке подсолнуха, вытаскивая сыроватые сладкие семечки. С детворой на улице не гоняла – выйдет за калитку, постоит молча и – обратно в дом.

Дразнить ее не дразнили – уже тогда, в детстве, Танькина красота ослепляла, а вот придурковатой считали.

В доме напротив, в большой, крепкой, как и сам дом, семье Харитиди чернявые и шумные, но дружные дочери и снохи убогих соседок жалели – когда полкурицы, только что зарезанной, еще истекающей теплой кровью, отнесут. Когда ведро помидоров – у «лентяек» даже это не растет. И это на жирной, словно маслом пропитанной, теплой южной земле! То подкинут яиц из-под пестрой несушки, а то угостят пахлавой, приторно-медовой сладостью, так любимой этим шумным и щедрым народом.

Зойка благодарила скупю: «А это еще зачем?»

Губы поджимала, но брала, чуть скривив в смущении и словно в презрении красивый, сочно покрашенный рот.

А бабка благодарила слезно и торопливо, мелко крестясь трясущейся и сморщенной рукой – хорошие люди, хоть и не наши. Христопродавцы.

А двенадцатилетняя Танька на бабку цыкнула:

– Наши! Потому что православные. – И с усмешкой добавила: – Что б ты понимала!

Бабка внучке не поверила, но в спор не вступила – только заворчала и махнула рукой.

Харламбий Харитиди влюбился в соседку лет в десять. Или по крайней мере стал на нее заглядываться. Это заметила мать – заметила и усмехнулась. Да гляди на здоровье! Хоть все глаза высмотри. Глядеть-то гляди, а из башки дурной выкини. Не нашего поля!

Так и сказала сыну спустя пару лет, когда шалый сын мотался под соседским забором и перекидывал туда записочки с камушком, перетянутые шпагатом и сорванные в родительском саду пышные и пахучие розы.

А уж когда он объявил о женитьбе... Вот тут разразился нешуточный и громкий скандал.

Кричали все – большая семья, южный крикливый народ. Грозилась выгнать из дому, грозилась отринуть от родни. Грозилась, грозилась... Потом уговаривали. Братья и шурыя уселись на лавки широкими задами и достали по-родственному бутылочку. Хлопали «бестолочь» огромными ручища-

ми по мускулистой спине – и снова уговаривали забыть эту «девку».

Случилась и драка – так, короткая и незлобная. И снова возникла бутылочка. Напоили Харлампия, а толку чуть – все равно мотал большой, кудрявой, черной упрямой башкой и повторял как заведенный: «Танька, Танька – и все. Не примете – уйду туда, к ней. Достанете – уедем совсем. Страна большая, нам места хватит».

Родня уложила пьяного олуха и дружно расселась за огромным обеденным столом на крытой летней кухне. Все попеременно – родители, сестры, братья и прочая, уже давно «родная кровь». Посовещались – шумным шепотом, боясь разбудить «женишка», да где там! Спал счастливый и несчастный Харлампий крепким сном, из пушки не разбудишь.

Посовещались, переругались и постановили – жениться дурака «отпустить». Парень горячий – как бы чего не случилось! А эту моль белобрысую... Ну, потерпим. Куда деваться! Горе, конечно... Да что тут поделатъ. Нет сейчас у детей уважения – ни к родителям, ни к обычаям. Такие времена!

Зойка узнала о грядущем событии от присланных сватов – все честь по чести, надо же оставаться людьми! Сватов за стол усадила и налила чаю в разнокалиберные чашки. Сваты поморщились и достали шампанское и шоколад.

Зойка оживилась, махнула бокал и – принялась нахваливаться свой «товар».

Сваты быстро свернулись, скупно и с явным недоверием ответив:

– Посмотрим!

Теперь счастливый Харламий прогуливал законную невесту по родной улице и набережной, где угощал любимую мороженым крем-брюле.

Сыграли свадьбу, и молодые зажили. В доме Харитиди им выделили большую светлую комнату окнами на юг. Харламий просыпался по-рабочему – рано и, подперев лобастую голову огромной ладонью, со счастливой улыбкой любовался спящей молодой женой. Танька морщилась от солнца, сводила тонкие светлые брови и зарывалась лицом в пышную пуховую подушку, одетую в крахмальную кружевную наволочку.

А он целовал ее в тонкое белое плечо и резко выскакивал из теплой постели, пахшей душистым, медовым телом жены.

Надо было торопиться на работу. Стройка начиналась с раннего утра – строили новый санаторий, очередную советскую здравницу.

На кухне терлись широкими задами женщины Харитиди – готовили мужьям и братьям сытные завтраки. Ставили и перед ним большую тарелку с дымящимся мясом, миску с помидорами и сдерживали тяжелые вздохи. Где это видано, чтобы жена не провожала мужа на работу? Не подавала полотенце у уличного домофона, не ставила перед ним тарелку с жарким, не наливала густой, почти черный от кре-

пости чай?

Где это видано? Где видано, чтобы молодая спала и не шелохнулась? В каких приличных домах? Когда сноха вставала позже свекрови? Позор, одно слово! Снохи и золовки бросали друг на друга красноречивые взгляды, снова громко вздыхали и осторожно качали головами.

А счастливый муж жадно и торопливо проглатывал завтрак – жадно, потому что после ночи любви сильно проголодался. А торопливо, потому что надо было еще успеть заскочить в комнату и... Еще раз поцеловать молодую жену в теплое плечо. А если уж совсем повезет – то в чуть приоткрытые, горячие и такие сладкие губы.

Искус обрушиться рядом на белые простыни был так велик, что становилось страшно – вот опоздает он на работу, и точно – совсем засмеют!

И братья, и товарищи! Подденут: «Что, брат? Такая сахарная, что и не оторваться?»

Он, конечно, не ответит, пропустит мимо ушей, только сильнее сожмет упрямый рот.

Что они понимают? У них – *все не так*.

Потому что так, как у него, Харлампия... И вообще, у них с Танькой... Нет ни у кого на свете! Вот это – наверняка.

А Танька спала. И снились ей розовые облака и голубое – вот чудеса! – солнце. Проснувшись, она пугалась своих снов – ну у кого такое бывает? И поделиться страшно. Никто не поймет – даже муж.

Ее не заботили косые взгляды родни. Казалось, ее вообще ничего не заботило: хозяйничать ей было не нужно – полный двор опытных женщин, на работу ее не отпускал муж. Так, почитает, сбегает к матери – благо совсем близко, напротив. Посидит у себя в саду под черешней, поглядит в ясное небо. Послушает мать – да что там слушать! Стыдилась она матери – ну, когда та под газом ходила. Стыдилась ее громкого голоса, грубых ругательств, насмешек над новой родней.

– Не поддавайся, Танька! – смеялась она. – А то запрягут тебя, как вола ломового! Знаем мы этих!

Кого «этих», Танька не уточняла. К вечеру мать начинала нервничать и поглядывать за калитку. Было понятно, что ждет очередного хахаля.

Танька медленно поднималась и медленно шла к калитке. В новый дом идти не хотелось – в своем старом, маленьком и знакомом, было лучше – привычнее, уютнее, а главное – тише.

В мужнином доме не говорили – орали. Семья большая. Пока всех за стол соберешь – горло сорвешь, ей-богу. Детей полон двор, носятся весь день, старики сидят под тутовым деревом – там самая тень. Стариков было трое – бабушка Елена, сухонькая, седенькая, в глухом черном платье и косынке на голове. Ее сестра Кула – та еще древнее, лет сто, не меньше. Кула уже не разговаривала – смотрела в одну точку и вытирала сухой ладонью постоянно набегающую слезу. И дед Павлос – муж этой самой Елены. Мать и отец Харитиди.

Древние, как тутовое дерево, под которым они сидели. Собственно, он, Павлос, и застолбил в тридцатые годы эту землю на пригорке – тогда совсем сухую пустошь с одиноким кустом ореха у самой дороги. Привел туда молодую пузатую жену – рожать Елене было совсем скоро, – и заселились они в землянке. Там, в землянке, и родился их сын Анастас, брат Харлампия. А спустя год на земле уже стоял дом – в три комнаты, вытянутый и плоский, рассчитанный на большую семью. Детей Елена рожала дома, и Павлос, услышав протяжный и глухой стон жены, мигом бросался на соседнюю улицу – за повитухой.

Та, полная, даже раздутая какой-то сердечной болезнью, с трудом попевала за беспокойным папашей.

– Успеем! Не кошка ж! – причитала повитуха, припадая на обе ноги.

Не кошка, а два раза не успели – одного Елена уже выдала из своего обширного нутра, но подхватить успели. А вот девочку не спасли – лежала она у Елены в ногах, обернутая, словно спеленутая пуповиной, и всем было ясно, что дело тут – увы – уже непоправимое.

Пятерых родила Елена – могла бы и больше. Крепкая была баба, здоровая. С быком управлялась точно заправский мужик. А заболела совсем рано – едва перевалило за полтинник. Слабая стала – ни ножа в руке удержать, ни кастрюлю поднять, ни курицу ощипать. Болезнь была неизвестная и непонятная – врачи, по которым таскал жену Павлос, качали

головами и говорили, что ослабела она от родов и тяжелой жизни. Павлос не верил – когда это женщины ослабевали от родов и домашней работы? И верить врачам перестал. Только молился, чтоб бог подержал на земле Елену подольше.

Хозяйкой в доме стала старшая дочь Христина.

Братья Харитиди – Анастас, Димитрос и Харлампий – были непьющие и работающие. Сестры, Христина и Лидия, сами искали братьям невест – серьезное дело привести в дом человека. Со всеми сладили, даже с капризным Дмитрием. А вот с Харлампием, дурачком, не смогли...

Танька приходила домой аккуратно к приходу мужа. Ждала не на кухне, где вечером собиралась семья. Ждала у себя в комнате.

Он вбегал в комнату запыхавшись.

– Гнались? – улыбалась счастливая Танька.

Харлампий мотал кудрявой башкой и махал рукой – какая разница!

И вправду, какая разница? Они так успевали соскучиться друг по другу, что неведомые силы подбрасывали, кидали в объятия, словно приклеивали друг к другу и... Они застывали.

Через час, надышавшись друг другом, они выходили к столу. Ужин уже подходил к концу, и проворные хозяйки спешно и ловко накрывали чай.

Глядя на молодых, кто-то усмехался, а кто-то недовольно хмурился.

А тем все нипочем! Тарелку с горячим супом ставила перед братом Христина, сестра. Чай наливала жена брата Агния.

Танька отламывала по кусочку хлеб и макала его в тарелку мужа. После чая, не принимая участия в шумных и бесконечных семейных разговорах, они молча вставали из-за стола, брали друг друга за руки и снова уходили к себе.

А на огромной, словно танцплощадка, летней веранде – три сдвинутых вместе стола, длинные лавки, две газовые плиты в ряд, два холодильника, не справляющиеся с жарой и оттого шумно фыркающие и трясущиеся, словно больной в лихорадке, еще долго сидела семья – три поколения очень похожих друг на друга людей.

Чужих здесь не было – чужая женщина с белыми, летящими за тонкой спиной, легкими, словно ветер, волосами уже крепко спала в своей комнате, прижавшись острой и нежной скулой к могучему, темному от солнца и колючему от жестких, курчавых и густых волос плечу мужа.

На веранде народ постепенно рассасывался – сначала загоняли в дом ребятню. Потом подростков. Дальше провожали стариков, нежно поддерживая их под острые локти.

Потом уходили мужчины – завтра снова рабочий день. А женщины, усталые, замученные, вытирали мокрой тряпкой липкие клеенки, заталкивали вечно не помещающиеся кастрюльки и плошки в холодильник, гоняли веником упавшие со стола крошки и корки и, широко зевая, не забывали в ко-

торый раз упомянуть вредных соседок, взлетевшие на базаре цены и, разумеется, дурака братца с «этой его белобрысой нерадивой козой».

Поговорили, и ладно. Последняя щелкала выключателем и наконец, устало перебирая ногами, шла к себе. Услышав за дверью храп мужа, шептала: «Слава те, Господи», – и тихонько, словно тень, просачивалась в комнату. Не дай бог разбудить – а то начнется! Харитиди – мужики крепкие, разбуди среди ночи – пожалуйста, никаких отговорок.

Знаем мы этих мужиков, им-то все нипочем! А сил-то совсем не осталось....

Дай бог доплестись до кровати...

Прошло два года, а Харламбий с Танькой ничуть не остыли. Все было по-прежнему. По-прежнему Танька читала в саду свои затрепанные книжонки, по-прежнему не спешила помочь золовкам и невесткам, словом, по-прежнему плевала на всех. И всем надоело обсуждать эту тетеху – больная на голову, что говорить. А то, что опоила этого дурака, итак понятно. Да кто бы в здравом уме из мужчин Харитиди смирился с таким позором!

Не сама опоила, так ее мать, Зойка-пьянчуга. Захотела пристроить девку на сытные хлеба! И под боком, напротив, и как сыр в масле.

Зойка к Харитиди не заходила – гордая! А если и случилось, то за стол не садилась, хотя жадно оглядывала великолепии щедрого и обильного стола.

Да и чувствовала отношение – что говорить. И к себе, и к своей бестолковой Татьяне.

А когда Христина или Лидия бросали в сердцах:

– Кого ты вырастила, Зоя?

Та зло прищуривала все еще красивые глаза и с недоброй усмешкой заявляла:

– И что? Вот вы, курицы, целый день хлопчете, целый день у плиты и у корыт! А мужики ваши вам за это хоть раз спасибо сказали?

Сестры, набычившись, молча ожидали продолжения.

И Зойка воодушевленно продолжала:

– Вот именно! А Таньку мою дурачок ваш на руках носит. Пылинки сдувает. И никто ему, кроме нее, нерадивой, не нужен! Что, съели? – Зойка победоносно оглядывала растерявшихся женщин.

Наконец кто-нибудь отвечал:

– Стыда на вас нет!

И все подхватывали эти слова, и начинался негромкий шелест.

– Нет! – соглашалась Зойка. – Объела вас моя Танька? Объегорила? Отобрала чего? Украла? Может, уважения не выказала?

Сестры удрученно молчали. Ела Танька меньше воробья, грубить не грубила, просить ничего не просила. Дурного слова ни про кого не сказала. Словно не живая баба в дом заселилась, а бесплотная тень.

– Не нравится – заберу к себе. Вместе с зятем! – пугала наглая Зойка и хлопала ладонью по столу.

Сестры вздрагивали и беспомощно смотрели друг на друга. Еще не хватало! В эту разруху, пьянку и нищету! Не приведи господи!

– Дуры вы, – с превосходством бросала Зойка, обернувшись на них у самой калитки, с удовольствием повторяла: – Дуры набитые! Там ведь... Любовь такая... Красивше, чем в иностранном кино!

Женщины Харитиди вздрагивали от громкого стука калитки и, тяжело вздыхая, отчего-то сильно смущенные, быстро, словно боясь опоздать, принимались заканчивать свои бесконечные дела.

Смотреть друг на друга не хотелось. Сплетничать тоже. Ну их к чертям! И Зойку, нахалку, и Таньку, дуреху. А про болвана этого, любимого братца, вообще говорить не стоит.

Нет, не так – за два года все изменилось! Еще жарче стали объятия, еще крепче. Пусть животная, ненасытная страсть чуть отодвинулась в сторону, чуть отошла, а вот нежность и притяжение стали еще сильнее. Теперь они спали, не разнимая рук, переплетаясь ногами, прижавшись к друг другу так крепко, почти до боли, боясь ослабить их общую схватку. Он просыпался среди ночи и начинал задыхаться – ах, если бы можно было не расставаться. Ни на миг, ни на минуту! Если бы можно было подхватить Таньку на руки и отнести на эту

чертову стройку. И пусть сидит на скамеечке, книжки свои читает. А он, он обернется в минуту раз – и снова за мастерок. Просто будет знать, что она – рядом. За спиной. Дышит, листает страницы, дремлет, прикрыв глаза, заплетает свои небесные волосы в рыхлую косу, которая расплетется минут через десять, или разглядывает огромную коричневую с синим перламутром бабочку, севшую – вот представьте – ей на ладонь. Вот чудеса!

Не отнесешь – засмеют! Ему-то наплевать, но что Таньке пылью дышать, матюги мужицкие слушать! Пусть остается дома – там и прохладно, и чисто. Попьет холодного компота, сгрызет жесткую грушу.

А он – он еще сильнее соскучится. И будет видеть, как соскучилась она.

– Милая моя, милая! – шептал он, глядя на спящую жену.

И нежность была такая, что начинало болеть его здоровое молодое сердце.

А однажды, разглядывая на рассвете тонкий Танькин профиль – нос, скула, припухшая губа, приставший к щеке волос, – подумал: «А ведь я так ее люблю, что даже вот сейчас не хочу! Просто нежность такая...»

Не понял простой Харламбий такой расклад. Разве так бывает? Любить – это точно хотеть! А он ее не хочет. Потому что... да черт его знает, почему! Сложно все у них как-то. Не так, как у обычных людей.

От досады он чертыхнулся, осторожно выбрался из кро-

вати и вышел на улицу покурить.

Руки дрожали, и никак не загоралась отсыревшая спичка. Заклокотала назойливая горлица, и на заднем дворе неохотно, словно по долгу службы, пару раз коротко крикнул петух.

А Харламий сел на скамейку под тутом, растер голой ступней упавшие темные ягоды и... Почему-то заплакал.

О том, что беременна, Танька сказала мужу среди ночи, обдав его жарким, смущенным шепотом.

Харламий вскочил с кровати, подхватил жену на руки и долго, баюкая, как ребенка, носил кругами по комнате.

Танька плакала и смеялась, а он что-то мычал, не переставая ее целовать.

Прозорливые и опытные женщины Харитиди заметили изменения сразу – Танька стала много и жадно есть.

Однажды, стащив из огромного казана еще не остывший румяный голубец, вздрогнула от резкого упрека, раздавшегося за спиной:

– Ну и как? Вкусно?

Танька, покрасневшая, словно ее застали за воровством, оглянулась не сразу.

Позади стояла Христина и с недоброй усмешкой разглядывала растерявшуюся и смущенную Таньку.

Та растерянно кивнула и опустила глаза.

– Так и попробуй. Сама! Ты ж мужнина жена. И не разу

ему борща не сварила! – недобро усмехнулась она.

– У меня не получится, – не поднимая глаз, тихо ответила Танька. – Неловкая я. Неумеха. Да и вы тут такие... Хозяйки! Где уж мне...

Христина неодобрительно покачала головой:

– Проще всего. Проще всего так сказать. Не боги горшки обжигают! А ты бы попробовала. Постаралась. Мужа ведь любишь?

Танька покорно кивнула.

– А *так* не любят! – упрекнула Елена.

Больше Танька на кухне не терлась – ходила в бакалейную лавку, брала каменных пряников, влажных вафель, хлеба и твердых плавленых сырков.

И тихо хрустела у себя в комнате.

К четвертому месяцу она сильно раздалась, отекала и подурнела. Даже золотые волосы потемнели, словно пожухли – будто осенние листья.

А муж ничего не замечал. Любовался ею, как в первые дни. Только по ночам прикладывал ухо к ее разбухшему белому животу и – слушал, слушал...

Рожать Таньку отвезли в Краснодар – было понятно, что есть проблемы. Оказалось, у «мамочки» нездоровое сердце. По дороге в больницу Танька все больше спала, привалившись к плечу мужа. В роддоме по лестнице поднималась тяжело, словно больная.

Такой он запомнил ее на всю жизнь – серая лестница из

известняка, крашенные перила, и Танька – тяжело, медленно идущая вверх. И Танькины ноги – разбухшие, рыхлые, с темными пятками – совсем не ее легкие ноги.

На последнем пролете она обернулась, и лицо ее исказилось от неизвестности и страха. Сдерживая слезы, она попыталась улыбнуться, но это подобие улыбки было скорее жалкой гримасой.

Он тоже попытался ответить улыбкой и тоже не справился. И крикнуть вслед ей «люблю» не получилось. Не вырвалось из горла это «люблю». Не произнеслось.

Врач нервно крутил в руках шариковую ручку, отводил глаза и убеждал Харлампия (а скорее самого себя), что все будет «как надо». Да, сердце... не очень. Плод большой. Очень большой. Наверняка парень. Измучится она, но... «Все будет как надо», – снова неуверенно повторил он и посоветовал будущему папаше «хорошо отдохнуть».

Харламбий слушал молча, опустив голову, и на прощание хриплым шепотом попросил:

– Ну... вы уж... постарайтесь.

Ночевал он на скамейке в сквере напротив роддома. Был октябрь, ночь была прохладной и, как всегда, очень темной. Он поднял воротник старого пиджачка, натянул рукава и постарался свернуться клубком.

– Завтра, – шептал он себе, – завтра все будет нормально. Завтра ей станет легче. Потому что завтра родится ребенок. Сын.

Только родился не сын. Это была девочка, дочь. Огромного, надо сказать, для девицы размера – четыре пятьсот! И где вы такое видели?

И Харламбий напился. С горя или с радости? Сам не понял. Орал под окном палаты. Громко орал.

Врач отказывался верить родне, что он, Харламбий, мужик непьющий.

Из роддома Танька вышла бледная и еще более тощая. «Молока не будет», – уверенно объявили женщины. И оказались правы – маленькая, совсем девичья, Танькина грудь молока не давала. Кормила ребенка золовка Агния. Ее сыну было уже полтора года, а молоко все не убывало – малыш то и дело подбегал к матери и требовал расстегнуть пуговицы на ее уставшей груди.

Мария оказалась точной копией отца, а значит, и всех Харитиди. Девочку мацали, тискали, целовали и не спускали с рук.

– Наша! – с гордостью признала семья. Ничего от *той* – ничего!

Впрочем, Таньку они почти простили – верующие люди, ни у кого не было в сердце злобы. А если что и было, так только разочарование и беспокойство – как она с дочкой-то справится? Коза наша безрукая.

Матерью Танька оказалась тоже неловкой – пеленала девочку плохо, укачивать не умела. И женщины, в который раз тяжело вздыхая, забирали у нее ребенка и ловко со всем

справлялись. А Танька снова садилась в тени, качала коляску и с интересом, словно невиданную зверушку, часами разглядывала дочь.

Харлампий, придя с работы, брал дочку на руки и не выпускал – вместе купали, вместе кормили. Мужики неодобрительно качали головами – и где это видано? Чтобы мужик? Да еще и пеленки стирал? Позор, не иначе!

Зойка зашла один раз – тихая, опухшая от пьянки, – с радости, объявила она. Глянула на девочку и поморщилась:

– Ваша! От нас – ничего! Ничего от материнной красоты не взяла! Галка и есть галка.

Харитиди махнули рукой – что с нее взять?

«Зимняя» кухня была тесной и темной, готовить на ней не любили, и до самых холодов, надев теплые боты, душегрейки и обмотавшись платками, замерзшими красными руками они чистили овощи, резали, терли и месили – все на улице. Из рта шел пар, было зябко и неуютно, но выгнать оттуда их мог только дождь или мороз. Впрочем, какие морозы! И восемь по Цельсию считалось зимой.

Но прошли и зима, и весна, и снова настало лето. Мария уже всю ковыляла по двору на толстеньких и крепеньких ножках. Танька учила с дочерью стишки про бычка и про мячик. Читала ей книжки – про муху-цокотуху и Бибигона.

Девочка слушала тихо, почти закрыв рот.

А в начале июня Танька утонула. Пошла на море одна – вода была еще холодная, местные в июньской воде не купа-

лись. Христина уговаривала ее не ходить, а та заупрямилась – говорила, что стосковалась по морю и, мол, она быстро, всего-то на час.

Нашли ее на третий день, когда Харламий, почти теряя сознание, уже валялся с ног, прочесывая берег.

На похоронах он застыл и не отвечал на вопросы. Глаза его казались безумными, словно стеклянными. Не видел, не слышал – словно умер вместе с любимой. А когда гроб с бедной Танькой стали опускать в каменистую землю – кладбище было у подножия горы, – он, качаясь, медленно побрел к выходу, не попрощавшись с женой.

Сдвинулся – решили все. Просто сдвинулся с горя.

Он пролежал почти месяц – не пил, не ел. Смотрел в одну точку и все время молчал. Заходили братья, пытались поговорить. Заходили сестры, пытались накормить, упрашивали поплакать – так будет легче, уверяли они.

Харламий молчал. А через месяц встал и побрел на кладбище. Там провел сутки. А когда вернулся, молча поел и на завтра пошел на работу.

Мария была девочкой пугливой и тихой, словно понимая, какое горе и сумятицу внесла ее непутевая и несчастная мать в жизнь семьи.

Зоя, Танькина мать, пила беспробудно. Надев черный плавок, шаталась по улицам и делилась с прохожими «горьким горюшком». Люди старались обходить ее стороной. А вскоре Зойка исчезла.

Подперла калитку булыжником и испарилась.

Харлампий сидел за столом, курил и смотрел в одну точку. Вышла Христина, держа на руках малышку. Харлампий дернулся, привстал и... Снова тяжело опустился на лавку.

Сестра, растерявшись, заметалась по двору. А он уронил голову на руки и молча заплакал.

Девочку подхватила жена Павлоса. И поднесла к Харлампию.

– Твой папа, смотри, Мария! – сказала она и протянула малышку отцу.

Тот резко поднялся, отпихнул невестку и пошел в дом.

Девочка, спокойная от природы, вдруг разразилась таким отчаянным криком, что сестры испуганно переглянулись и принялись малышку качать и тетешкать.

Только спустя три года Харлампий подхватил дочь на руки – Мария споткнулась о кривой корень тута, упала и заголосила.

Он беспомощно оглянулся и, увидев, что поблизости никого нет, подлетел к малышке и взял ее на руки.

Девочка тут же замолкла и с удивлением уставилась на спасителя. А потом вдруг улыбнулась и легонько стукнула его полной ладошкой по небритой щеке.

Христина видела в окно, как брат прижал дочку к себе и стал носить по двору, шепча ей что-то на ухо.

Мария молчала, крепко прижавшись к отцу.

Детство Марии было счастливым – наверное, так. Нянек – куча, детворы – полный двор. То один дядька подхватит на руки и подбросит до потолка, то какая-нибудь из теток сунет в рот леденец или пряник и в который раз поправит распушившуюся толстую косу.

То, что Харлампий – ее отец, она усвоила быстро. А вот Христина? Или Агния? Или Лидия? Кто же мать? Было непонятно и странно. Лет в пять Мария поняла, что Христина, смотрящая за ней больше всех, отцу не жена. Но спит почему-то Мария в комнате у Христины.

Просветили, конечно же, дети, объяснив ей, что они – брат и сестра. А вот про мать Марии все молчали...

А она, будучи скрытным и молчаливым ребенком, спросить не решалась.

Однажды пришла в дом странная женщина – сгорбленная, сухая, с большими запавшими глазами, в черном платье до полу и в черном глухом платке. Ее называли Зоей, и было件нятно, что она из старых знакомых.

Зою кормили на кухне, окружили плотным кольцом, и женщины Харитиди о чем-то тихо шептались со странной и страшной женщиной, кивая головами в сторону Марии.

Потом «черная» женщина подошла к ней и подняла ее подбородок. Марии было больно – рука женщины была крепкой и цепкой. Она мотнула головой, пытаясь вырваться.

Тут женщина ослабила хватку, погладила Марию по голо-

ве и чуть дрогнула сухими губами:

– Иди, девочка! Иди, маленькая!

Мария, готовая к бегству, сделала шаг назад и тут услышала:

– Совсем на *мою* не похожа! Словно и не было ее никогда, Таньки моей!

Спустя много лет Мария узнала, что это была ее бабка Зоя, ушедшая в монастырь в далеком Поволжье.

Больше бабку Зою Мария не видела.

Отца пытались женить. Он отмахивался и даже слушать о сватовстве не хотел.

Старая Елена совсем слегла, когда Мария пошла в третий класс. И, взяв с сына клятву, спустя пару месяцев умерла.

Мария помнила, что отец куда-то уехал почти на неделю и перед поездкой был хмур и молчалив. С дочерью прощался долго, словно извиняясь перед ней.

А через неделю женщины Харитиди принялись готовить праздничный стол.

Мария поняла – будут гости. И вправду появились гости. Точнее – гостья, которая шла рядом с отцом, несшим старый маленький коричневый чемодан на металлических скобках и немалый узел из старого плюшевого покрывала.

Гостья была никому не знакома – за спиной Харлампия шла молодая женщина хрупкого вида с большими черными и очень испуганными глазами.

Мария запомнила, что ботинки у женщины были стран-

ные, мальчуковые, темно-коричневые, с сильно потертыми белесыми носами.

Навстречу брату и женщине вышла Христина, после смерти бабушки негласно считавшаяся главной из женского общества Харитиди.

– Добро пожаловать, – взволнованно сказала она и обняла женщину в стертых ботинках.

Мария увидела, что вещи – чемодан и плюшевый узел – отец занес в свою комнату.

И сердце ее почему-то дрогнуло.

– Дядька жену привез, – зашептали старшие дети, а Мария, услышав, бросилась вон со двора, обескуражив уже всю шумно галдевшую семью, рассаживающуюся за обильно накрытым праздничным столом.

Нашел ее Харламбий только под вечер. И где? В брошенном домишке бывших соседей. В Танькином домишке напротив.

Впервые Мария, отогнув хилую, почти сгнившую штакетину, забралась на соседний участок, дрожа от страха открыла входную дверь и – уснула, свив гнездо из старых тряпок и пахнувших тленом и прелью подушек, – прямо на диванчике, в сенях.

На любимом Танькином месте.

Он схватил девочку на руки, прижал к себе со всей силой.

Уткнувшись с густые дочкины волосы, громко, в голос, пугая все еще спящую девочку, страшно, по-волчьи, завыл.

И недетским басом ему завторила испуганная и сонная дочь.

Жену ему нашли – списались с дальней родней – в глухой деревне под Кировом. Эта совсем молодая женщина, воспитанная – ирония судьбы – мачехой, судьбе своей покорилась безропотно. За вдовца с ребенком? Ну, значит, так. Зато она знала, что едет в большой курортный поселок, почти город, на море, в богатую и дружную семью, где думать о хлебе насущном не придется. А все остальное приложится, даст бог.

После глухой деревни и отчаянной бедности, после холодных и долгих зим, после мачехи, трех ее детей, изнурительного деревенского труда, после куска хлеба, добытого почти с кровью – с кровавыми мозолями, – ей наверняка показалось, что она попала на небеса.

Женщины Харитиди приняли ее хорошо, с открытыми, готовыми к любви сердцами. Комната – светлая, с прозрачными шторами, с широкой дубовой кроватью и шелковым покрывалом – показалась ей раем. Не надо было вставать в три утра и выгонять на выпас скотину, не надо полоть огород, таскать из колодца воду и драить занозистый, черный от старости пол.

Сладкие фрукты падали на голову, помидоры краснели и наливались от щедрого солнца на заднем дворе на огороде, куры – жирные, сытые – клевали упавшие ягоды и рассыпанное зерно.

Сестры и золовки мужа дарили ей свои платья и обувь, а старшая, Христина, вдела ей в уши золотые сережки – подарок на свадьбу.

Про девочку, дочь мужа, она не думала, как не думала о ней ее мачеха. Сыта, здорова, тетки хлопочут – что ей еще? Свою любовь она предлагать и не думала – не от злого сердца, а от скупости души, думая, что Мария в ней не нуждается. Словом, девочка, молчаливая, тихая, с застывшим взглядом черных маслянистых глаз, в расчет не входила.

В расчет входил муж, Харлампей. Нет, грубым он не был! Но... И ласки она от него не увидела.... Ни разу в жизни.

Впрочем, что она знала про ласки? Так проживал жизнь и ее отец, и его братья. Так жили ее собственные женатые братья. Так жили и женщины Харитиди: честно и скупо радовались каждому дню – бесхитростно, не выпрашивая у бога ничего лишнего. Здоровью детей, зарплате мужей, хорошему урожаю, нежаркому лету, густому варенью и пышному тесту. Трудились – с утра до заката, встречали мужей и шли с ними в спальни.

Потому что так надо. Потому что надо рожать. Потому что женщины.

А про ласки они и не ведали.

Потому что про Таньку и Харлампея давно позабыли. Про то, *как* еще может быть в женской жизни.

Муж с ней почти не разговаривал: как дела? Что на ужин?

Что на базаре?

Она отвечала – коротко, сдержанно. Протирала клеенку, прежде чем поставить перед мужем тарелку. Подкладывала добавки, подливала компоту.

Садилась напротив и смотрела, как он ест. Молчали. Потом он кивал и уходил на «мужскую» половину – другой стол террасы – смотреть футбол или играть с братьями в шашки.

А после, переведя дух, направлялся к себе. Она боковым зрением среди кухонной колготни и трепа с невестками тут же улавливала это и спешила за ним.

Он уже лежал на кровати, глядя в потолок. Она быстро снимала платье и юркала под одеяло.

Он чуть отодвигался к стене и отчего-то вздыхал.

Она тоже лежала на спине и почему-то замирала в волнении.

Спустя пару минут он, громко крякнув и тяжело вздохнув, клал большую и сильную руку на ее съезжившуюся от волнения грудь.

Она чувствовала, как холодеют ее руки. Он чуть подтягивал ее к себе и, словно коршун, не открывая глаз, склонялся над ней – огромный, тяжелый, прерывисто и шумно дыша.

Она вся сжималась – от непонятного страха и боли где-то внизу живота – и пыталась податься к нему. Он привстал, словно отдаляясь, и, быстро закончив свое мужское дело, молча отваливался на спину.

Засыпал он в ту же минуту – прямо на спине, сложив руки

на волосатой груди.

А она тихо, беззвучно плакала, коря себя за эти фокусы и глупое ожидание того, что ей было и вовсе неизвестно, но женское чутье упрямо подсказывало, что все бывает не так. А как? Она и не знала.

Да, кстати, узнать ей так и не довелось – женщиной она была честной.

А про догадки свои скоро забыла – не до того! А может, она и вовсе фантазерка? И нет ничего на свете, что называется смешным словом «любовь»?

Через год после их скромной свадьбы она родила сына.

И уж тут – ну, естественно, – совсем стало ни до чего.

Мальчик был болезненным и беспокойным, с рук не сходил.

А у женщин в семье и своих деток хватало – рожали женщины Харитиди много и часто, спасибо, Господи!

И муж, Харлампий, был не помощник – сядет со своей лупоглазой дочкой-толстухой и шепчется о чем-то. Словно и нет у него сына, а лишь одна дочь.

Зиновию, Зину, как называли жену отца, Мария не любила. Да и с какой стати? Матерью ей по-прежнему была тетка, успокоившаяся наконец, что вторая жена брата любимую девочку у нее не отберет.

Отца Мария любила отчаянно – по вечерам висела на заборе и высматривала его с работы. К маленькому брату была равнодушна – в братьях и сестрах недостатка у нее не было.

И никто не задумывался, кто кому родной, а кто двоюродный.

В комнату отца и его жены не заходила с тех пор, как однажды увидела разобранную постель – почему-то стеснялась.

К пятнадцати годам Мария превратилась в крупную, полную и высокую, с пышными формами девушку. Нрава была тихого, скромного – одноклассницы и сестры уже всюду бегали на свидания, а молчаливая Мария сидела дома: или читала библиотечные книжки, или помогала теткам на кухне.

Однажды услышала, что ее собираются сватать – тетки обсуждали какого-то краснодарского жениха из «богатой» семьи и искоса поглядывали на племянницу.

А спустя пару дней Лидия повела ее в центральный универмаг и старательно выбирала ей новое платье и новые босоножки.

Мария решила, что это – на выпускной. А тетка небрежно, словно между делом, бросила:

– И на выпускной пригодится, и еще куда-нибудь.

– Куда еще? – уточнила Мария.

Тетка погладила ее по голове.

– Замуж, девочка. Замуж пора.

И очень грустно вздохнула.

А вечером пришли двое немолодых мужчин и долго сидели на кухне с отцом, негромко обсуждая какие-то важные дела.

Отец был очень печален и молчалив, больше обычного.

Тетки молчали и старались не смотреть Марии в глаза. Только Зина, жена отца, усмехнулась:

– Замуж тебя отдают! Ты что, дурочка? Не понимаешь?

Мария вспыхнула и бросилась прочь из дома. Поздно вечером, когда она, измученная от усталости и неизвестности, возвратилась домой, Харлампий молча курил у калитки.

– Правда, папа? – спросила она.

Он молча кивнул.

– Не пойду! – мотнула головой Мария. – Ни за что не пойду!

– А что тут плохого? – удивился отец. – Надо же... замуж...

– Не пойду, – упрямо повторила Мария и, отодвинув отца плечом, быстро прошла в дом.

После выпускного Мария собрала вещи и объявила родне:

– Все. Уезжаю. В Краснодар, в медучилище. А потом – в институт. Хочу быть врачом! И «взамуж» – увы – не пойду. Так что разбирайтесь с женихом сами – сами сговорились, сами и разбирайтесь.

– Да как же? – растерянно спросил кто-то из дядьев. – Все вроде бы порешили... и семья хорошая, и жених.

– А меня вы спросили? – сверкнула очами Мария. – Тот и оно! Вот сами и разбирайтесь. Заварили кашу... – пробурчала она.

С отцом простилась холодно – было понятно, что оба в обиде. А вот жена отца радости от отъезда Марии и не скры-

вала – простилась с ней нарочито тепло и душевно.

В Краснодаре Марии дали койку в общежитии и стипендию – двадцать рублей. К Новому году она устроилась санитаркой в больницу: тридцать рублей – совсем неплохая прибавка к стипендии.

Училась она на «отлично», и в группе ее считали зубрилой, занудой и синим чулком.

Соседки по общежитию сильно красили ресницы, густо поливались духами, надевали короткие юбочки и колготки в сеточку и отправлялись покорять мужские сердца, бросая на зубрилу-соседку презрительные и брезгливые взгляды.

А Мария радовалась одиночеству – впервые в жизни она могла побыть дома одна. Заваривала литровую банку крепкого чая, забиралась с ногами на кровать – и читала, читала. Или готовилась к экзаменам.

Однажды приехал отец – привез огромную корзину еды и фруктов, долго сидел на стуле напротив кровати Марии и, тяжело вздыхая, тревожно оглядывал внезапно повзрослевшую дочь.

Мария проводила отца до автобусной станции, и они крепко обнялись, простив друг другу все и сразу.

Мария училась легко и с удовольствием, мечтая, конечно, о мединституте.

На каникулы ездила в родительский дом, где на нее шумно набрасывалось огромное семейство Харитиди. Но оставалась она там ненадолго – торопилась обратно. Нужно было

зарабатывать деньги – брать у отца она не хотела. Конечно, дядья и тетки совали ей в карманы пятерки и трешки, но Мария отказывалась – гордая.

Распоределилась она в небольшой поселок на море – желающих ехать туда было много, но путевку отдали отличнице. Мария приехала в Н. полная радости и душевного подъема. Поселок оказался не таким уж и маленьким – два кинотеатра и районная больница, которой заведовал Доктор – так она называла его, – немолодой сухопарый мужчина, похожий на доктора Чехова – бородка, круглые очки без оправы и повадки интеллигента.

Доктора обожали все – от самых капризных больных до усталых и всего повидавших больничных нянечек. Жил он в доме в двух шагах от больницы, побеспокоить Доктора в любое время дня или ночи было делом привычным и даже обыденным.

Он даже спал в первой, проходной, комнате на узком и жестком диване, чтобы прибежавший за ним коллега не побеспокоил членов его семьи.

А семья была огромна – две сестры, старые девы, старушка-мать, жена Доктора, маленькая и сухонькая Вера Васильевна, которую за глаза все называли Веруней, и три их с Доктором дочери.

Доктор и Веруня были так похожи между собой, что вполне можно было принять их за брата с сестрой. Три дочери – старшая, Лерочка, уже неудачно побывавшая замужем, с

двумя малолетними детьми на руках, средняя, Валечка, на выданье, и младшая, Тоня, ученица восьмого класса.

Все они были как из одного инкубатора – белобрысые, с белесыми ресницами и бровями, чуть конопатые, тощие и всегда развеселые. Из большого сада то и дело доносился звонкий, быстро вскипающий смех, тут же подхватываемый обширным семейством.

Доктор, Виталий Андреевич, «дамочек» своих, как он называл их шутя, обожал.

В саду стояла большая беседка, где всегда пыхтел самовар. Слышался звук стаканов и ложечек, короткие споры – и снова взрывы веселого смеха.

Мария, проходя мимо дома доктора, с жадностью заглядывала на участок за прозрачным забором. Ей, привычной к большой семье, не хватало и шума, и споров, и таких вот посиделок.

Доктор шел по улицам поселка, приветственно кивая головой налево и направо – все знали его и всех знал он. Ну, или почти всех – всем ведь когда-нибудь случалось прихворнуть. Был он отменным хирургом – операции доверяли только ему. А его молодой коллега, «отбывающий наказание» в провинции после института, оценив, как ему повезло, присутствовал на операциях и жадно учился. Мечтая при этом о столичной карьере, конечно же, в столичной клинике.

Марию доктор выучил на операционную сестру. Тандем у них был блестящий, как часто бывает у хорошего врача и

опытной медицинской сестры. Понимали они друг друга с полувзгляда, по взмаху ресниц или по неопределенному на первый взгляд, короткому жесту рукой.

Мария доктора боготворила. После операции он горячо благодарил ее за помощь, уверяя, что без нее он бы «ни за что не справился».

Почему-то она жалела его... Какая глупость – он жил в большой и дружной семье, где все его уважали и слово его считалось законом. Его обожали все без исключения. Так почему же?

А просто увидела она как-то, как сидел он у себя в кабинете, уронив голову на сильные, тонкие, в ярких веснушках руки и смотрел в одну точку.

И она поняла – устал. Очень устал ее доктор. Ее кумир. Ее бог, ее гений. Нигде нет покоя – ни дома, ни на работе.

А побывав однажды у него, окончательно утвердилась в своих догадках. Там было шумно, суетливо и бестолково. И «дамочки» Доктора были суетливыми и бестолковыми.

Нескладехами, вот кем они были. Мария вспоминала накрытый стол – белый хлеб, варенье и масло. Чашки были шербатыми и плохо вымытыми. Обедов у них не водилось! Все подходили к столу и наливали горячую воду из самовара. Доливали в чашку уже почти прозрачную заварку, хватали хлеб или пряник – и все, казалось, были довольны.

Однажды она заметила, что обшлага его рубашки, манжеты и воротник сильно потрепаны – как говорится, обтреха-

ны. И еще углядела, что нянечка Стеша гладит любимому доктору единственные на все сезоны брюки.

Веруня, Вера Васильевна, покачивалась в гамаке с очередным «романом» в руке. Дочки... Да что там дочери... У них своя жизнь. Сестры, которых он, Доктор, кормил и тянул, без всякой надежды пристроить замуж, вязали крючком кривые салфетки.

Докториха Лариса, совсем молодая, чуть старше Марии, была остра на язык и уже почти безнадежно несчастна – мужчины Ларисы сторонились. Пожалуй, одна только Лариса не оказывала начальству должного почтения, не стесняясь комментировать и нелепого в своей растерянности Доктора, и его шумную и бестолковую семью.

– Мелкое семейство, – так называла она его родню. – Мелкое и бестолковое – бездельничают, веселятся, пьют пустой чай и еще размножаются.

Это, естественно, было брошено в адрес и незадачливой дочери, и их с Веруней собственных детей.

Вера Васильевна не работает. Почему? На этот вопрос она бы и сама затруднилась ответить. Негласно считалось, что Веруня растит детей. А на деле... После рождения младшей, Тонечки, муж объявил, что карьера Веруни закончена: три дочери – это не шутка!

Это и впрямь было серьезно – девочки оказались болезненными и беспокойными. Однако даже во время банальных простуд Веруня впадала в такую панику, какая, в общем, бы-

ла довольно смешна для опытной многодетной матери. Вопросы решал, разумеется, муж. Вопросы любого масштаба – будь то болезни детей, продуктовые проблемы, материальные или визит водопроводчика или электрика.

Веруня беспомощно хлопала прозрачными, в светлых ресницах, глазами и разводила тонкими ручками.

– Виталечка, – детским голоском певуче выводила она, – кран снова бессовестно потек, лампочка в беседке перегорела, и суп – представь себе – тоже! Ну, в смысле, сгорел. Прямо на плите – просто выкипел! – искренне удивлялась она.

И на глазах у нее закипали слезы отчаяния.

Виталечка успокаивал ее и принимался «решать вопросы». Он говорил, что «Веруне не просто».

Это и дети, и свекровь, и золовки.

– У Веруни ангельский характер, – восхищался он, – ни одного скандала и ни одной распри! За всю нашу жизнь!

Это была чистая правда – скандалов в доме не бывало. Родня – мать доктора и его незадачливые сестрицы – признавала в тихой Веруне хозяйку, а себя считала приживалками при невестке и любимом брате. Не то чтобы Веруня на этом настаивала... Но! Границы обозначила четко – она приняла их в семью! Приняла без истерик, спокойно и безоговорочно – после письма из Сибири, когда свекровь наконец решилась открыть сыну и невестке всю правду – жить невозможно, продуктов не достать, климат кошмарный, у старшей дочери астма, и теплые края им просто необходимы. Нужно

было срочно что-то решать.

Беженцев приняли тут же – тогда еще в крошечной квартирке, выданной местной властью многодетному отцу.

А спустя полгода, устав от очередей в уборную, было решено «расшириться», то есть купить большое жилье.

Дом этот, уже тогда почти развалившийся и даже не скрывавший этого, беззастенчиво, не смущаясь, обнажал дырки в полу и прорехи в тонких стенах, но купили его быстро и сразу – деньги достала из носового платка мать доктора – все, что удалось скопить за долгую жизнь.

В этом кособоком, продуваемом и ветхом жилище была какая-то особенная, уютная и светлая прелесть, сразу бросающаяся в глаза. Дом был и вправду светлым, воздушным и очень просторным – большая терраса, выходящая окнами на море, балкон на втором этаже с белыми, потрескавшимися и шаткими балясинами, полукруглые окна, скрипучие деревянные полы и даже остатки «барской» мебели – дубовый буфет в стиле ар-деко и пара козеток для «легких дам» – неудобных, узких, с затертым и расплзающимся, совсем блеклым шелком.

Еще был стол. Да, стол! Огромный, дубовый, на единственной толстенной, мощной ноге – «семейный», вне всякого сомнения, стол. Стол и решил все дело – тут же заворковали сестрицы, и подхватила Веруня: «Ах, семейные чаепития, ах ванильные сухари в плетеной корзинке! Ах, алычовое варенье и бублики с маком!»

Участок – всего-то четыре сотки. А куда же им больше? Заросший полынью, ковылем и давно одичавшими садовыми деревьями тоже был одобрен в момент – никаких огородов, боже упаси, только цветы и цветы!

Цветов, разумеется, никто не развел – все забыли об этом после пары неудачных опытов с розами и георгинами. И это на юге, при степном-то климате!

«Рожала» только оставшаяся от старых хозяев клубника – почти выродившаяся, совсем мелкая, но сладкая до невозможности. Из нее и варили варенье. У забора цвела кривая, мозолистая алыча – и это тоже шло впрок. И еще все никак не могла выродиться деревенская малиновая мальва – соседка кривой алычи.

В доме все постоянно ломалось, отваливалось, падало, вырывалось и билось. И все же простор всех расслабил и примирил – всем по комнатке, всем по углу – внизу сестрицы с матушкой, наверху сам хозяин – с женой и дочками.

Считалось, что хозяйством занимаются сестры – под строгим надзором матери. Ерунда! Поварихи были они никудышные. Веруню от домашних дел отстранили, а сами хозяйство так и не потянули – Виталечка питался в больнице, девочки – из тех детей, у которых никогда нет аппетита, а женщины доктора были субтильны, неприхотливы, да и вообще обходились «лепестками фиалок», запивая их «каплями росы».

Зато в доме весело, шумно и мирно. Разве не это залог

счастливой семьи?

Матушка доктора занималась рукоделием, и считалось, что она всех обшивает, обвязывает и одевает. Бесконечно распускались старые кофты и платья, скатывались в клубки давно уже запутанные и перекрученные нитки, и она с упоением принималась за новый «шедевр». Так все и ходили – в пестрых растянутых кофтах на пуговицах и в сшитых ею же юбках из дешевой и «немаркой» ткани.

А глава семьи был совершенно счастлив! Все его женщины – любимые женщины – были рядом, жили все вместе, и он отвечал за всех!

Он вообще считал себя человеком счастливым: дом – любимый дом, – полный любимыми и родными лицами, море, на которое он любил смотреть на закате, и, разумеется, его работа! Его обожаемая, лучшая и необходимая работа!

Маленькая больничка – а больницей назвать ее было просто смешно – была ему даже не вторым, а первым домом. Торопясь по утрам на работу – смех, семь минут по соседней улице, – он в который раз ощущал себя счастливым человеком – вот оно, счастье! Просыпаться с торопливой мыслью о работе и с удовольствием спешить вечером домой.

Боялся он только одного: не приведи господи, слепоты или тремора рук – вот тогда точно беда!

Пару лет назад большой человек из районного центра пообещал ему «райский сад» в своей вотчине. В благодарность за «спасение, так сказать, жизни». Доктор отказался, сильно

удивив и расстроив партийного бонзу: «райский сад у меня здесь, уважаемый! А эту больничку я сам поднимал. Да и к тому же – море, батенька! Вот посижу на берегу после трех операций – и будто заново родился, ей-богу. Весь налет с души и с сердца – прочь через десять минут. Вот сколько счастья – семья, больница и море! А вы говорите – в райцентр!»

Бонза покачал квадратной лысеющей башкой:

– Чудак вы, доктор! Ей-богу – чудак! И кто бы от этого... Да еще добровольно!

Доктор улыбнулся и развел руками. Бонза тот, кстати, после той истории так и лечился у доктора, чуть что – высылал машину.

Мария своего доктора обожала – он был для нее богом и небожителем. Однажды она остолбенела, увидев его на городском базаре – доктор выбирал помидоры. Щупал, нюхал, как все остальные. Как все обычные люди, вот чудеса! Она встала чуть поодаль и не сводила с начальника глаз. Потом он засеменил к молочному прилавку и попробовал творог и сметану. Потом купил курицу, заглядывая в ее пустые и мутные глаза, по дороге прихватил винограду и быстро пошел к выходу.

Мария была потрясена – он, кумир, небожитель, нюхает куриную гузку, проверяя на свежесть! Когда дом полон женщин и девиц! Какая вопиющая несправедливость! Просто гадость, честное слово...

Возмущению ее не было предела. И вот именно тогда она

стала подкармливать любимого Доктора, сменив на посту санитарку Стешу, приносившую из дома то котлету, то капустные пирожки. И именно тогда она возненавидела «мелкую» семейку. Возненавидела и презирала – горячо и глубоко, до самого сердца, не вполне понимая, что движет ею не обида и не жалость. А движет ею любовь.

Жизнь Марии протекала плавно и скучно, впрочем, скука ее вовсе не угнетала. Дом – работа. Хотя какой там дом! Дом был далеко, там, где осталась ее большая семья. А маленькая комнатка, которую Мария снимала, была не домом – так, скорее убежищем. Она приходила с работы, перекусывала и ложилась в кровать. Долго лежала с закрытыми глазами, думая обо всем понемножку. Тосковала по родне, особенно по отцу и Христине, почему-то стала чаще вспоминать младшего брата, к которому прежде не испытывала никаких родственных чувств. Даже с теплом думала о мачехе, наконец начиная ее по-бабьи жалеть.

Еще мысли Марии занимала работа. Она без конца перебирала события прошедшего дня и недели, переживала за больных и, конечно же, думала о Докторе. Она обожала его, восхищалась им, гордилась, что причастна к его судьбе. Жалела, скучала, когда не видела его слишком долго или видела слишком коротко. «Святой человек! – думала она. – Таких больше нет!» Засыпая, она радовалась, что завтра снова рабочий день, который начнется с обычной пятиминутки, и

она опять увидит его, услышит его спокойный, размеренный и уверенный голос. Да если бы было возможно, она бы вообще не уходила с работы – дела в больнице всегда найдутся. Она с удовольствием брала подработки – ночные дежурства и операции. Кто-то считал ее жадной до денег, кто-то жалел – одинокая, скучно. Живет словно старуха.

Иногда она ходила в кино. Никогда – на танцы, стесняясь своей «крупноты» и «тяжелости».

Отец тяжело заболел, и Мария взяла неожиданный отпуск. Диагноз Харлампию поставить никто не мог, и относительно молодой еще мужчина медленно и верно впадал в дремучую тоску и отчаянье, не желая общаться даже с родней. Жена повезла его на свою родину к какому-то древнему колдуну. Колдун отменил все таблетки и дал им огромный мешок трав и настоек. Но облегчения травы не принесли. Тогда Христина отбила Марии срочную телеграмму. Когда она увидела отца, ее сердце чуть не разорвалось от боли. За полгода Харламбий превратился в согбенного, сморщенного старика.

Мария погладила его по голове и вышла во двор. За столом сидела притихшая и виноватая семья.

– Почему раньше не сообщили? – сухо бросила Мария и, не дожидаясь ответа, быстро пошла к калитке. На переговорном пункте она долго ждала заказанного звонка, а, наконец дождавшись, стала громко, торопливо и сбивчиво объяснять собеседнику суть проблемы. Телефонистка, бывшая

одноклассница Марии, видела, как та, резко хлопнув дверью кабинки и даже не кивнув на прощание, красная, возбужденная, очень встревоженная, быстро вышла на улицу и чеканным шагом зашагала домой.

«Какая толстая, господи! – обиженно подумала одноклассница. – Ни слова ведь не сказала! И какая огромная, нелепая! Просто баба-тяжеловес», – и с удовольствиемглянула на себя в зеркало, чуть одернув кофточку с большим, откровенным и призывным декольте.

Мария зашла во двор и строго приказала молодым женщинам отмыть кухню до блеска. Пол, столы, плиты. Так же поступить с туалетом.

– А вот комнату папы я уберу сама. Завтра приедет доктор. Лучший из докторов. И все будет хорошо! – уверенно сказала она и даже слегка улыбнулась.

Доктора она встретила на автобусной станции рано утром. Они шли по улицам ее родного городка, и никогда – никогда – она не была так счастлива, как в тот тревожный, яркий и солнечный день. Они говорили о больнице, потом он подробно расспрашивал ее о болезни отца, задавал вопросы, вздыхая, качал головой, что-то переспрашивал и снова качал головой, а потом взял ее за руку и мягко улыбнулся:

– Справимся, Маша! Непременно справимся!

Как не разорвалось тогда ее бедное сердце? Как выдержало его улыбку, мягкую, но твердую руку, слова утешения и надежды?

Слезы брызнули из глаз, и она растерялась, залилась густой краской, смутилась и моментально некрасиво и густо вспотела.

Доктор внимательно и долго осматривал больного, щупал живот, слушал легкие и сердце, задавал вопросы и непридуманно шутил, похлопывая Харлампию по худому плечу.

Потом они вышли во двор и сели с Марией за стол. Он говорил тихо и уверенно:

– Скорее всего, опухоль кишечника. Я почти уверен. Нужна операция – без промедления. – Он, разумеется, берется, но... Оперировать здесь ему никто не позволит, а везти больного в поселок опасно и сложно. Что делать? Он задумался и стал смотреть в одну точку. Молчала и Мария, ожидая его решения, как приговора. Наконец он оживился, улыбнулся и легонько стукнул по столу своей легкой, сухой ладонью. – Эврика! – сказал он.

То, что пришло доктору в голову, слава богу, сработало. А именно – он позвонил тому самому партийному бонзе и попросил посодействовать в решении проблемы.

Бонза, будучи к тому времени уже руководителем края, решил вопрос в полчаса.

Стали готовить операционную в местной больнице, палату и перевозку пациента.

На следующий день Доктор уже оперировал больного. Он оказался прав – это была опухоль нижнего отдела кишечника. Операция прошла успешно – да кто же мог в этом сомне-

ваться?

Мария из больницы не выходила. На вопрос, а что будет дальше, Доктор развел руками и поднял указательный палец к небу:

– Теперь – только он. Все, что могли, мы с вами, Машенька, сделали.

Первые три ночи он тоже не выходил из больницы. Они вместе сидели у постели спящего Харлампия и шепотом говорили о жизни. Он рассказывал, как жили они в далекой Сибири, куда попали его ссыльные родители. Как он рос – болезненным и слабым ребенком, не вылезая из простуд и пневмоний. Как прошел всю войну – до самой Праги – с военным госпиталем. Как после войны поехал в Крым и там и остался – потому что на море, в сухом степном климате он стал здоровым и сильным. Как полюбил море сразу и навсегда. И как оно действует на него в любое время года – стоит только сесть на любимую скамейку на берегу и «поговорить» с ним. Как встретил Веруню, пришедшую к нему, совсем молодому врачу, на прием – она тогда подвернула ногу. Как он бинтовал ей эту самую ногу и почти задохнулся от жалости и умиления – так тонка и изящна была ее лодыжка и так хрупка была сама Верочка!

Мария слушала не дыша. А когда он заговорил про Верочкину лодыжку, непроизвольно задвинула свои тяжелые ноги под табуретку.

Эти три дня и три ночи были самыми счастливыми днями

ее жизни. Самыми яркими и самыми счастливыми. И еще – самыми несчастными. Тогда она окончательно поняла, как он любит жену и детей, и оставила свои мечты и надежды навсегда, убедив себя, что встреча с таким человеком – это и есть удача. А уж любовь к нему – просто невысказанное человеческое и женское счастье. Просто быть рядом с ним – а уж в каком качестве, это не так и важно.

Он уехал, оставив указания лечащему врачу, смутив Марию словами: «Во всем слушаться дочку! Она у нас большая умница!»

Врач смущенно кивнул, бросив на Марию удивленный и слегка разочарованный взгляд.

Она осталась. Так же сидела у постели отца, радуясь малейшему улучшению в его состоянии. Через месяц Харлампия перевезли домой, и Мария наконец засобиралась обратно. В ночном автобусе, который вез ее домой, в поселок, она не спала ни минуты, вглядываясь в густую ночь.

Сердце ее пело от радости – с отцом, слава богу, все в порядке, и скоро, очень скоро, она увидит *его*! Будет стоять рядом с ним на операциях, ловить его взгляд, следить за его мимикой, за его умными и талантливими руками. И ощущать свою причастность к нему.

Марии было уже чуть за тридцать, и жизнь ее совсем не менялась. Пожалуй, за все эти годы она заработала себе только непререкаемый авторитет и уважение коллег, больных и

жителей поселка. Она еще больше погрузнела, подурнела, и черты ее яркого лица стали грубее и выразительнее. Так случается с колоритными южными женщинами почти всегда. Доктор стал еще суше, еще тоньше и почти совсем облысел – редкие светлые волосы смешно взлетали на его голове от малейшего дуновения ветра.

«Одуванчик», – прозвала его новенькая и молоденькая веселая медсестричка, обожавшая давать прозвища окружающим.

Марию повысили в должности, и теперь она была главной сестрой больницы. Но на сложных операциях по-прежнему только она ассистировала любимому доктору. И только она видела, как предательски начинают трястись его умелые и такие чудесные опытные руки.

Был Новый год. Как всегда, отмечали его накануне, тридцатого вечером. В ординаторской накрыли столы и откупорили бутылку шампанского. Быстро выпили и быстро закусили – в больнице нет времени на долгие посиделки. Народ разошелся по своим делам. Остались только Мария и Доктор. От бокала, точнее, чашки шампанского его развезло, и он почему-то впервые начал жаловаться ей на свою судьбу.

Говорил он долго и бурно, вытирая набегавшие на глаза слезы. Говорил о том, что она и сама уже прекрасно знала и понимала, – у него начинался недуг, которого он боялся всю жизнь. Руки, его инструмент, предавали его – тряслись, и он уже сам видел, что оперировать ему заказано. Масштаб это-

го горя Мария прекрасно понимала. А потом он впервые заговорил про семью – про незадачливых и неловких, особенно в старости, бестолковых сестер, про то, как тяжело он пережил уход матери. Про хвори любимой Веруни и ее нежелание понимать его жизнь. Про дочек – тоже бестолковых и нелепых в обыденной жизни. Про разведенную Лерочку, так и не устроившую свою жизнь. Про Валечку, родившую от проезжего молодца не очень здоровую девочку. Опять – девочку! Господи боже мой! Про Тонечку, открыто живущую с женатым человеком и совсем не стыдящуюся этого.

Он говорил об этом бурно, совсем не стесняясь Марии. А она сидела рядом и гладила его то по руке, то по голове, неловко пытаясь найти слова утешения и ободрения.

Она уложила его на шаткий диванчик и под его всхлипы и бормотанье продолжала гладить его по голове – как ребенка.

Ей показалось, что он уснул, и она попыталась встать с дивана. Он что-то забормотал и крепко взял ее за руку. Она снова опустилась на диван, уже не пытаясь освободить затекшую руку.

Вспоминая подробности того дня и той ночи – по секундам, минутам – всю жизнь, она никак не могла вспомнить, в какую минуту он спросил, закрыта ли ординаторская на ключ. Помнила только, как встала, повернула ключ в двери и, не чуя ни ног, ни рук, ни своего сердца, снова опустилась на диван рядом с ним.

Хорошо она помнила только одно – как поразили ее его руки, оказавшиеся такими сильными и настойчивыми, что у нее перехватило дыхание.

Она ушла на рассвете, когда он крепко и очень спокойно спал. Ушла тихо, плотно затворив за собой дверь.

В коридоре тускло горела лампочка на сестринском посту, и та самая смешливая новенькая медсестра спала, уронив рыжую голову на стол.

Тридцать первого и первого у Марии были выходные. С доктором они встретились только через неделю.

Что забеременела, она поняла не сразу. Совсем не сразу – эта мысль казалась ей нелепой и невозможной и просто не приходила в голову. Странности по части женского здоровья она списала на нервное состояние и сильнейший эмоциональный стресс. Доктор встретил ее как всегда – с улыбкой и радостью, поинтересовавшись, как она провела выходные.

В какую-то минуту ей показалось, что ничего не было. Все, что произошло той ночью, ей привиделось, показалось, приснилось.

Что она испытывала? Ощущение счастья? Растерянность, чувство вины? Да всего понемногу, всего...

А он... Он встретился с ней пару дней спустя у операционного стола. Как всегда – предупредителен, мил и просто спросил, как дела и здоровье.

В его глазах и во всем поведении не было ничего – вообще ничего! Ничего нового, особенного. Словно ничего и не бы-

ло той холодной и ветреной предновогодней ночью! Словно не было и самой ночи, и узкого дерматинового диванчика, и поворота дверного ключа. А может, он ничего и не помнил? Скорее всего. Ведь не мог же он *так*! Просто не хватило бы хитрости и опытной мужской сноровки. Какой из него изменник? Вот уж смешно! Значит, забыл. Точнее – не помнит. Ну, и слава богу! Не нужно ему знать ни про ее муки, ни про ее стыд.

И если бы не упорная тошнота по утрам... Она бы тоже – больше всего на свете! – хотела бы все забыть. Забыть, забыть... Как самый ужасный проступок на свете! Самый стыдный, самый предательский. Но тошнота никак не проходила, и гастрит виноват в этом не был. Как бы Марии этого ни хотелось. Мария чувствовала – каждый день, каждый миг, – что в ней зарождается новая жизнь. Которая перевернет, перекрутит, переменит всю ее прежнюю жизнь.

И это было неизбежной реальностью, правдой, ее бедой и радостью. И еще – страхом. За все: за себя, за него и за того, кто уже вовсю копошился в ее большом и таком незнакомом сейчас теле.

Стеша первой заметила перемены в Марии.

– Понесла? – сурово спросила она, кивнув на Мариин живот.

Мария вздрогнула и тихо, оглядываясь, спросила:

– А что, уже видно?

Стеша мотнула головой.

– На тебе, кобылице, до самых родов видно не будет! Просто я это чувствую. Сколько вас видела-перевидела, прости господи!

Мария кивнула, залившись густой краской, и поспешила прочь.

Она быстро шла по улице, подставляя горящее лицо ветру. Господи! Что ее ждет? Она словно очнулась. Узнает родня – все ее тетки, дядья. Наконец, отец, брат. Жена отца. Ее заклеят позором и проклянут навсегда.

А на работе? Соседи по улице... Да весь городок! Все будут показывать на нее пальцами и качать головой. Все – без исключения!

Она шла долго, давно выйдя за пределы поселка. Шла по пустынному и разбитому шоссе мимо серого, холодного весеннего моря. Ветер дул ей в лицо, размазывая ее слезы.

Остановилась, когда на улице было совсем темно, и испугалась – ушла она далеко, и обратно идти сил уже не осталось. Села на придорожный камень и тут же вскочила – камень был холодный и влажный. Она стала ломать хрупкие, подмерзшие ветки, чтобы постелить их на холодную землю и прилечь отдохнуть.

Когда ложе было готово, Мария легла и закрыла глаза. Было отчаянно холодно – никакие ветки не спасали от ледяного дыхания остывшей за зиму земли.

«Вот и хорошо, – подумала она, – вот сейчас заболею и выкину! А еще лучше – умру. Воспаление легких – это со-

всем не много, после такой вот ночи...» Она не заметила, как ее сморило, но скоро проснулась: ветер уже пробирал до костей – промозглый и влажный, весенний морской ветер.

Кряхтя, она поднялась со своей хлипкой лежанки и почти побежала обратно, в поселок. По дороге она чуть согрелась – даже сбросила шаг. Идти было тяжело, она задыхалась и, останавливаясь, прислушивалась к себе.

Ребенок не подавал ни малейших признаков жизни.

Она снова прибавила шаг и наконец дошла до поселка. До дома было рукой подать.

Она с трудом вставила в замочную скважину ключ – руки озябли, заледенели и совсем не слушались, наконец вошла в прихожую, и на нее пахнуло теплом жилья. Она села на табуретку и, раскачиваясь, тихонько, по-собачьи, завывала.

Она дотронулась до своего холодного, почти каменного живота, и в этот миг ее дитя, словно откликнувшись на ее боль и страх, зашевелилось, заерзало, словно подавая ей знак.

Она тут же вскочила, засуегилась, сняла мокрые боты и пальто, бросилась к плите, чтобы поставить чайник, переоделась, натянула шерстяные носки, обмотала живот и поясицу огромным серым пуховым платком и стала тихо приговаривать:

– Прости меня, детка! Прости, если сможешь! Все у нас будет с тобой хорошо. Господи! Какая же я идиотка!

Она гладила себя по животу, с радостью понимая – ребен-

нок не умер! Он родится и будет жить. И нет ему никакого дела до душевных мук бестолковой матери. И наплевать ему на взгляды соседей и осуждение родни. Ему на все наплевать.

Деточка простила и до самых родов мамашу не беспокоила. Точнее – беспокоила. Но только так, как и было положено, – переворачивалась, выпячивала пяточку и кулачок, не давала спать по ночам и спокойно стоять у операционного стола.

В больнице все молча косились на Мариин живот и вопросов не задавали. А доктор, наконец обнаружив в любимой сотруднице перемены, нежно пожал крупную Мариину руку и поздравил ее «с новым и счастливым положением».

Почти перед самыми родами Мария поехала домой. Отец немного окреп и пытался помогать жене и сестрам по дому. Марии он обрадовался и слегка упрекнул:

– Ну ты, дочь, совсем раздалась!

Тетки и мачеха молча переглянулись. Только ближе к ночи, оставшись с племянницей наедине, уже почти слепая Христина погладила Марию по животу и тихо сказала:

– Девка будет. Наверняка девка. Я ведь ни разу не ошибалась, ты же знаешь!

Не поднимая глаз, Мария кивнула.

– Да и хорошо, что девка. С парнями сложнее.

– А это вот как сказать! – усмехнулась Христина и спокойно добавила: – Родишь – привози. До кучи! Нас здесь много.

Тебя подняли – подыдем и девку твою.

Мария кивнула – посмотрим.

В декрет она ушла поздно, на восьмом месяце. Сидела в перевязочной и крутила ватные шарики и тампоны. Когда случайно встречала доктора, он неизменно спрашивался о ее здоровье и сетовал, что в оперблоке без нее совсем плохо. Ехать рожать Мария решила домой, но роды начались на две недели раньше срока, и рожать ей пришлось у себя в больнице.

Роды принимал, разумеется, доктор, призвав на помощь опытную акушерку Потаповну.

Девка – так назвала ее Потаповна – родилась мелкая, тощенькая – всего-то два шестьсот.

– Гора родила мышь, – со вздохом изрекла акушерка, подняв на плоской ладони сморщенную и красную рыжеватую малышку.

Доктор осмотрел ребенка, довольно хлопнул его по тощенькой попке и утешил роженицу:

– Хорошая мадемуазель, не сомневайтесь! Мои все три точно такие же были – и ведь доношенные же! А тоже такая же мелочь, только Тонечка, если не ошибаюсь, – тут он задумался, – да, точно, Тонечка набрала до трех килограммов.

Мария отвернула лицо и ничего не ответила. От волнения ей сдавило горло.

Да и что тут сказать? Ничего. Вот именно.

Он исправно навещал Марию каждый день. Говорил, что

малышка красавица, и был внимателен больше, чем прежде. После его ухода она снова терзалась мыслями, не скрывает ли он своих догадок, понимая, что эта малышка – его четвертая дочь.

Вряд ли. Скорее всего, это была просто забота о любимой помощнице – и ничего больше.

На пятый день Мария выписалась домой. Дома она совсем растерялась – дочка орала дни напролет, не желала брать грудь и мучилась животиком.

Мария выбивалась из сил. Иногда заходила Потаповна и давала ценные указания. Она и установила, что молоко у Марии слишком жирное, оттого девочка и страдает животиком.

– Как назвала? – сурово спросила она молодую мамашу.

Мария пожала плечами.

– Людмилой назови, – так же сурово сказала Потаповна, – хорошее имя. И людям будет милá.

– Люд-ми-ла, – повторяла Мария, словно пробуя предложенное на язык.

Людмила. А что, красиво! Или назвать Татьяной? В честь матери? Нет! Слишком страшная у мамы судьба, решила Мария, и девочка стала Людмилой.

Люда, Людочка. Милочка, Мила. Можно еще Люся – впрочем, «Люся» нравилось ей не очень.

А девочка стала именно Люсей. Точнее – Люськой. Потому что «Люська» – ей, рыжеволосой, конопатой, мелкой, тощенькой – подходило ей больше всего.

– Задрыга какая, прости господи! – бросила однажды в сердцах Потаповна.

Обидно было, а ведь чистая правда! Задрыга тонконогая. Никакой харитидьевской стати, мощи, яркости. А уж про красоту и говорить нечего – не поделилась покойная Танька ни с внучкой, ни с дочерью. Обидно... Оказалась сильна докторская порода – блеклые, будто смазанные черты лица, а как проявляются – одна за одной!

Люська росла болезненной, хлипкой, капризной и плаксивой.

Когда они шли по улице, картина и вовсе была смешная – величественная, неповоротливая, большая, почти огромная густо-черная, глазастая и носатая Мария – и вертлявая, мелкая, худосочная, веснушчатая и рыжая девчонка, пытающаяся вырваться из крупной и сильной руки матери.

Смех, да и только! Впору заподозрить, что капризулю эту рыжую ей подменили в роддоме. Подсунули, перепутав.

– Вот ничегошеньки от мамыши. Ну ни грамма!

И только одна Мария знала, в кого ее писклявая, конопатая и мелкая дочь.

В сестер. Посади рядом – и никаких сомнений. ИХ бело-брыся порода. Как ни крути. Такие дела.

Никто и ни разу не спросил Марию про отца ребенка. Думали, наверное, так – в поселке решили, что дочку Мария привезла с родины – гостила же у родни там, на курорте, и закрутила роман. Наверняка с женатым курортником. Таких

случаев – тыщи!

А домашние решили, что от кого-то из поселка. А почему одна? И не расспросишь – Мария человек суровый, немногословный. Хотела бы – поделилась. А так – что в душу лезть? Чтоб человека смутить? Не такие Харитиды, не из тех.

Когда Люське пошел пятый год, Мария приехала в свой город. Состарившийся Харлампий внучку прижал к себе и почти не отпускал – тетешкался, читал девочке книжки и выходил с ней за ворота – медленно, тяжело опираясь на самодельный костыль, – всего-то шагов десять.

У Танькиного дома они садились на трухлявую, черную от времени скамейку и долго и молча сидели, прислонившись друг к другу плечом.

Он умер, когда Люське исполнилось десять. И на похоронах она больше всех рыдала по деду.

Жена Харлампия, собрав вещи, засобиралась к себе в деревню. Там хотела женить сына, убедив невесток, что в городе «хорошего ждуть нечего» – или запьет, или загуляет. Молодежь, она нынче...

Христина умерла через полгода после любимого брата. Постепенно уходили старики, разъезжалась молодежь, семья редела, и двор уже был не такой шумный, пестрый и суматошный. Оставшаяся за старшую Агния по-прежнему требовала варить первое в огромных кастрюлях и маниакально относилась в погреб несметное число банок с компотами, соленьями и вареньем. А запасы не съедались. Из стариков едоки

плохие, да и где они, старики. А молодежь... Молодежь наезжала теперь в отпуска – и только. И тащить на себе тяжелые гостинцы отказывалась, объясняя, что все сейчас «есть в магазинах».

Банки пылились в кладовке, и Агния тяжело вздыхала, вспоминая свою большую и дружную, шумную и прожорливую семью.

Праздник и радость были, когда Марии и Люське наконец выделили квартирку. Это и вправду была именно квартирка – квартирой назвать ее было сложновато. Однокомнатная – ребенок-то был однополый, а значит, вторая, отдельная, комната очереднице не полагалась. Зато! В квартире был балкон! А люди, живущие «на югах», знают, что балкон – это огромное счастье. Тем паче балкон был большой, почти огромный – целых три с половиной метра. Балкон, конечно же, утеплили и закрыли стеклянными рамами. Этаж был второй, и в окна бились ветки абрикосового дерева, дающие тень и прохладу в самые жаркие июльские дни. На этом балконе и «прописалась» Люська – туда был вынесен маленький столик для уроков, табуретка, две подвесные деревянные полки для книг и всякой девчачьей ерунды и, конечно же, узенькая кровать с никелированными шишечками.

На долю Марии осталась вся комната в целых пятнадцать метров и собственная кухня – четыре метра, зато! – бежевая кухонная полочка, тумба и белоснежная раковина с горячей

водой.

Придя вечером с работы, Мария садилась на табуретку и замирала от счастья – кружевные занавески, синий, в красных цветах, чайник, голубая кастрюлька и розовый пластиковый абажур.

Она гладила ладонью клеенку в блеклый цветочек, и сердце ее сладко замирало – все это было ее и только ее!

Впервые в жизни она была хозяйкой. Полноправной хозяйкой такой неземной красоты!

Она долго пила очень горячий чай и снова осматривала свои владения.

Потом шла в комнату, включала телевизор и ложилась на кровать, покрытую синтетическим пледом с огромным ярко-рыжим клыкастым тигром.

На комод, покрытом кружевной салфеткой, стояли фотографии отца, матери и Христины. Рядом – керамическая вазочка с искусственными пионами. На стене – ковер, вернее, небольшой коврик. Ковер бы Мария не потянула. Она засыпала под звуки программы «Время», и Люська, высунувшись из своего убежища, тяжело вздыхала и выключала громко орущий ящик.

В выходной день Мария «намывала» квартиру – остервенело начищала кастрюли, шваркала шваброй и густо, побольничному, сыпала хлорку в раковину и унитаз.

Люська фыркала и убегала во двор.

А Мария выгребала с балкона яблочные огрызки, фантики от конфет и прочую чепуху, которой дочь с удовольствием захламляла свою «жилплощадь».

Мария чертыхалась и обещала себе наказать «эту засранку».

Но с Люськи как с гуся вода. Странная получилась девка – полублаженная, что ли.

Платьев новых у матери не просила и губы втихушку не красила. И подруг у Люськи особенно не было: так, поболтается во дворе – и домой. Только на море бегают. Купальщица! Прибежит с мокрыми волосами, отожмет кое-как купальник – и снова за книжку.

На море бегала до глубокой осени – на берегу только бакланы и чайки, пищат, дерутся, копаются в мусоре и огрызках, и – Люська. Холод собачий, а она в воду! А еще сидит на море и все любит. А что на нее, на воду, смотреть? Тоска бескрайняя... Ни конца этой тоске, ни начала...

Мария море терпеть не могла. Помнила, что море сгубило, отняло у нее мать. На дочку кричала:

– Что тебе это море? Соленое до горечи! Слезы одни, а не море!

Впрочем, понятно, откуда такая «любовь». Доктор по-прежнему приходил на «свою» скамейку и так же подолгу глядел на бескрайнюю воду.

Лишь однажды – ну, просто курам на смех – у Марии «нарисовался» ухажер. Разумеется, из больных. Степан Багра-

тович Арутюнц был пожилым вдовцом и директором гастронома на «центральной» площади.

Человеком он был нездоровыми, тучным, одышливым и незлобивым. Ухаживать он начал смешно и наивно, принося тайком в кабинет, обязательно – в дежурство Марии – то букет гвоздик, то коробку шоколадных конфет, то пышный, кремовый, затейливо разукрашенный торт. Все это делалось с изяществом и грацией слона – вечерком, оглянувшись, бочком, бочком... Но тут же падала ваза, предательски хлопало окно или дверь, и на шум сбегались дежурные врачи и сестры.

Он беспомощно разводил смешными пухлыми ручками, хлопал глазами и назойливо извинялся.

Мария тяжело вздыхала и осуждающе качала головой:

– Взрослый ведь человек, Степан Багратович, а все туда же!

Он смущался еще больше, бормотал что-то невразумительное и пятился к двери, непременно опрокинув стоящий на пути стул.

По отделению поползи шуточки: «А наша-то! И кто бы мог подумать?»

Мария «эти глупости» отмела резко и разом – все тут же притихли, и хохмочки прекратились.

Только доктор сказал ей однажды:

– А зря вы так, Маша! Чудный человек этот Багратович. Добрый, широкий. Совершенно не типичный торгаш. Со-

единили бы свои судьбы, а, Мария? Может быть, обратите внимание? Ну, не всю жизнь одной. И дочке вашей... Будет неплохо. Человек он не бедный, да и нежадный, как видно... Так что – рекомендую.

Мария застыла, чуть не выронив из рук лоток с инструментами.

– Что? – переспросила она. – Не поняла.

Доктор стусевался и досадливо махнул рукой.

– Да не обращайтесь внимания. Несу черт-те что, сам не знаю. – Он пошел к двери и, обернувшись, тихо добавил: – А все-таки зря. Когда два хороших и одиноких человека... – Снова махнул рукой и вышел вон.

Мария опустилась на кушетку. Господи! Какая чушь! И кто? Он? Он советует мне «обратить внимание»? Рекомендует?

Он, кого она любила всю свою жизнь? От которого родила дочь и ни разу – ни разу! – не побеспокоила его и не потревожила его покой!

Он, рядом с которым она прожила свою жизнь, просто чтобы прожить ее рядом с ним! Он рекомендует ей!

Он, ради которого все эти годы она имела счастье каждый день проходить мимо его дома и видеть, слышать... Просто – знать! Знать, что он там, рядом, только протяни руку и...

Он там! Пусть со своей семьей, со своей Веруней! Ей, Веруне, он выбирает гранаты на рынке. У Верочки низкий гемоглобин. Ей, Веруне, он покупает мед – у Верочки слабый

иммунитет. Ездит в центр за зимним пальто и справляется, где молодая докторша Светлана Васильевна купила такие замечательные осенние сапоги! Просит совсем уже слепую Пошаповну связать «Верочке теплую шаль».

Все эти годы она слушала про его непутевых дочерей и сестер и утешала как могла.

На всех операциях стояла с ним рядом, плечом к плечу, даже тогда, когда он почти заболел, теряя сноровку и ловкость. Просто для того, чтобы он, не дай бог, не занервничал и не совершил ошибку.

Носила ему пирожки и борщ в баночке, чтобы он поел вкусного и горячего. Хотя бы там, на работе. Из ее рук. Да что там пирожки! Все эти годы она ни разу не подумала о другом мужчине. Восхищалась им, восторгалась и боготворила! Прощала ему его Веруню и его любовь к ней, ни разу – ни разу! – не заревновала к ней, потому что...

Потому что не это было главное! А главным было то, что бог дал ей *такую* любовь и счастье родить от него ребенка.

За все эти годы у нее ни разу не возникло мысли хотя бы намеком, шутя, дать ему понять, напомнить про ту ночь в ординаторской. Потому что это... Это внесло бы смуту в его жизнь, нарушило ее привычное течение, вызвало беспокойство и чувство вины.

Главное – он был рядом, почти каждый день, и она могла слышать его, разговаривать с ним, смотреть на него! Она любила его так глубоко, так сильно, так безнадежно, доволь-

ствуясь не просто малым, а почти невидимым, незаметным, совсем неслышным. И даже в минуты вселенского отчаянья и одиночества, когда подступала к горлу жалость к своей женской судьбе, своей неприкаянности, когда задыхалась от крупа его дочь Люська, когда не хватало денег выправить ей новую куртку и свозить ее в Питер, чтобы дочь увидела, как много есть прекрасного на белом свете, кроме ее дурацкого моря...

Она ни разу – ни разу! – не подумала о том, что надо ему сообщить. Сказать, поставить в известность. Воззвать к жалости или к совести, в конце концов!

Любовь к нему заливала ее сердце и душу, как расплавленный горячий свинец, который в детстве они плавили во дворе в пустой жестянке от консервов.

Всю жизнь она прожила рядом с ним. Да-да, именно рядом! И это казалось ей самым главным и значимым.

А он... Он не то чтобы не заметил всего этого...

Ему было на нее плевать! И в конце концов он решил ее сосватать. Сват и советчик! И это человек, в котором не было ни грамма пошлости! Никогда в жизни она не чувствовала такой обиды и боли. Ей казалось, что ее растоптали, унизили, оскорбили.

Ей захотелось догнать его и выкрикнуть – пусть слышат другие! – что-нибудь злое, ужасное, страшное – про ту их единственную ночь, про их общую дочь – пусть все узнают! И пусть «слабенькая» Верочка наконец потеряет покой!

Мария в изнеможении опустилась на стул и закрыла лицо руками. Спустя время она тяжело поднялась, бросила в сумку свои вещи – чашку с чайной ложкой, халат и тапочки – и медленно побрела к выходу. По дороге, у приемного отделения, вот, господи, испытание, ей снова попался Доктор.

– Маша, куда вы? – удивленно спросил он, взглянув на часы. До окончания дежурства оставалось еще три часа.

Она прошла мимо него, не взглянув в его сторону и не ответив на вопрос.

А если бы обернулась, увидела бы, что он застыл, словно соляной столб.

Она медленно шла домой, не видя никого вокруг и не замечая, как дождь хлещет ее по лицу и что туфли полны воды. Зайдя в квартиру, в первый раз она не подумала о том, какое же это счастье – отпереть входную дверь и вдохнуть запах родного дома. Она скинула туфли и плащ и, не умывшись, как подкошенная рухнула в неразобранную постель.

Люська тормошила ее за плечо.

– Мам, ну мам! Ты что, заболела? Пойдем обедать, мам!

Она присела на кровать матери и, видя, что мать не отвечает и даже не открывает глаза, горько заплакала.

– Что реवेशь? – спросила Мария и тяжело сползла с кровати.

Побрела на кухню, достала из холодильника суп и поставила его на плиту.

Испуганная Люська сидела на табуретке и смотрела на

мать.

Они молча пообедали, Мария помыла посуду и снова легла в постель.

Люська включила телевизор и кидала на мать тревожные взгляды. Мария смотрела в потолок и молчала.

Наутро она не поднялась как обычно и не стала собираться на работу.

– Может, врача? Позвоню в больницу? – осторожно спросила Люська.

Мария недобро усмехнулась.

– Не нужно врача. Хватит. Отлечились.

Потом села за стол и достала лист белой бумаги. Быстро, без раздумий написала что-то и протянула лист дочери.

– Сбегай в больницу и передай! – жестко сказала она. – Отдай этому... – тут Мария запнулась. – ...главврачу.

Люська растерянно глянула на бумагу:

– «Прошу отпустить меня в отпуск по собственному желанию», – вслух прочитала она и уставилась на мать. – Это что, мам?

Мария равнодушно пожала плечом.

– Заявление. Что, не видишь? Отнеси, – повторила она и отвернулась.

Люська кивнула, с тоской посмотрела на улицу, где снова лил сумасшедший дождь, и со вздохом стала натягивать резиновые сапоги и курточку.

Открыв дверь, она, запнувшись, посмотрела на мать.

– Мам! А ты хорошо подумала? Какой отпуск? Сейчас? Мы же с тобой в Питер собирались, мам! Ты же мне обеща-
ла! – осторожно и тихо спросила она.

Мария строго посмотрела на дочь и уверенно повторила:
– Иди, Люсь! Я кому сказала!

Она села у окна и стала смотреть, как крупные и тяжелые капли со стуком ударяются и медленно сползают по стеклу. Она вспомнила ту осень, тот дождь и ту ночь, когда ей хотелось умереть – впервые в жизни. Вспомнила, как испугалась потом своих мыслей и как корила себя за них. Вспомнила, как брела обратно, продрогнув до костей, мокрая и измученная, как тяжело давался тогда ей, тогда еще молодой, каждый шаг и как силы совсем покинули ее и она с трудом добрела до дома.

Как тяжело ей было носить в сердце свою тайну и боль, и смотреть на дочь, на ее фигуру, лицо и повадки, ежесекундно видя в ней отца и свою единственную любовь. Как боялась она все эти годы, что ее ужасный грех раскроется, и все узнают. Она вспоминала свои сны – люди кричали ей вслед бранные слова и смеялись над ней. А потом к ней приходила Веруня, его безликие сестры и одинаковые дочери – и их была целая вереница, которая никак не кончалась. Они окружали ее плотным кольцом и все повторяли: «Как ты могла, Мария! Как ты могла? Вытворить такое – да еще с нами!»

Веруня еле держалась на ногах, хваталась за сердце и молча плакала, приговаривая: «Как же так, Маша? Ведь мы так

тебе доверяли!» А дочери умоляли ее не «отнимать у них отца» и тоже дружно ревели и протягивали к ней руки.

А сестры злобно шипели, словно змеи, укоряя ее: «В доме была как своя. Пили из одного самовара. А оказалась – обычная гадина!»

Она вспоминала, как стала тогда обходить стороною их дом – было стыдно и горько. Горько видеть их счастье, их тесный, веселый, шумный и дружный мирок.

Горько и стыдно – вот что она испытывала все эти годы! Сколько она корила себя, что не сделала аборт! Ведь не было бы ее жуткой тайны и чувства вины. Правда, не было бы и дочки...

И все же грех говорить, жила бы с чистой совестью. Ведь муки совести, не приведи господи... Ничего нет страшнее!

И не чувствовала бы себя воровкой и предательницей. Впрочем, все тогда обошлось! Она понимала, что догадывается только Стеша. Но та – скала, никогда и ни слова!

А остальным... Да просто не было никакого дела до Марии и ее дочки. Ну, родила и родила – подумаешь, делов-то. Другие времена – бабы рожают для себя, и правильно делают. Толку от этих мужиков, как от козла молока...

Солнце, море, курортное место – закрутила одинокая баба с кем-нибудь из приезжих, да и слава богу. Не одна такая! Кому от этого плохо? А тот, из отдыхающих, ни сном ни духом – обычное дело! Вернулся небось к жене и не вспомнит.

А одинокой женщине радость – все не одна, с ребеночком!

Вдруг Мария подумала – жизнь была совсем ей не в радость. Ни рождение Люськи, ни любовь к Доктору – всю жизнь она испытывала страх и стыд. Только квартире и радовалась, а сейчас и эта радость прошла. Да нет, не только – с радостью всегда шла, нет, бежала она на работу – знала, сегодня, сейчас увидит его – и вот она, радость! Радость стоять рядом, подавать ему инструменты, не дожидаясь просьб и указаний, смотреть, как четко работают его руки, словно ловкие руки музыканта, играющего вслепую, без нот, по наитию и слуху. Радоваться вместе с ним после удачного исхода операции, горевать вместе с ним после трагических и безысходных случаев. Вместе! Все переживать вместе с ним! Как говорят – в горе и в радости! А после, когда он устало плюхался в кресло, приносить ему крепкий и сладкий чай – только из ее рук, только от нее...

И всегда – всегда! – он устало и мягко улыбался и просил ее задержаться. И она, каждый раз робея и стесняясь, присаживалась рядом, и они говорили, говорили... Сначала об операции – и ему всегда было интересно с ней это обсуждать, потом разговор плавно перетекал на дела больничные, а дальше и семейные. Она вспоминала, как он говорил жене: «Маша – мой первый друг!»

А у нее после этих слов все словно сворачивалось внутри – не друг, а предатель! Разве друзья так....

А теперь предателем был он – она вспоминала его гнусный смешок и не менее гнусный совет: «Пора наконец устраивать

жизнь, Мария Харлампиевна! А то вы – не там и не здесь!»

Не там и не здесь... Правильно, это все про нее. И позор свой не скрыла – родила дочку. И уехать не уехала – боялась от него оторваться. И в дом его ходила как первый друг и дорогая гостья.

Кто же она после этого? Чужого не взяла, а ведь мечтала... и если бы это «чужое» хоть раз поближе к ней оказалось – да разве б она отказалась?

«Уеду! – решила Мария. – Вот сейчас точно уеду! Соберу манатки и... Куда? Домой? А что там дома?» Брат с мачехой давно уехали в деревню, тетки умерли, в доме уже другие хозяева – те, с кем она знакома слегка, почти шапочно. Туда она наезжала теперь совсем редко, пару раз в год – на могилы родителей и родни. Кто она там? Гостья. И вряд ли долгожданная. Да и как уедешь? Бросить дом, нажитое... Сорвать Люську со школы, оторвать от любимого места...

Снова начинать жизнь... Ни сил, ни желания.

Так она сидела весь день, вглядываясь уже в сумерки тихой улицы, и капли по-прежнему били в стекло и гулко стучали по подоконнику, отдаваясь в голове нерезкой и монотонной болью.

Люська застала ее в той же позе – стряхивая мокрую куртку, она смотрела из прихожей на мать и тяжело вздыхала.

– Ну? – спросила Мария. – Отдала?

Дочь кивнула и стала наливать в чайник воду.

– И что? – спросила Мария. – Подписал?

Люська пожала плечами.

– Не видела. Сказал, что ему сейчас некогда. Торопился, – добавила она и обернулась к Марии. – Поругались? – спросила она.

Теперь вздохнула Мария.

– Дура ты! – В сердцах сказала она. – Кто он и кто я!

Люська пожала плечами и вышла из кухни. «Странная все-таки мать женщина», – с сожалением подумала она.

Молчит все, ничем не делится. Кто знает, что у нее на уме? Ни друзей, ни подруг. Раньше хоть ходила в гости к Доктору. А потом и туда перестала. Ни гостей у них, ни родни. «Одни как персты, – подумала Люська и тут же призадумалась. – Персты? А почему бы нет? Перст – это ведь палец? А персты – пальцы, правильно. Вот они и есть эти персты – она и мать. И никого больше. И что там у нее на работе? И ведь не спросишь! Не у кого спросить! Разве что у этого доктора...»

Люська забралась с ногами на кресло и стала громко прихлебывать чай. Мария зашла в комнату, посмотрела на дочь и поморщилась – вот точно так же пьет чай ее отец. Шумно прихлебывая, втягивая в себя горячую воду, дуя на поверхность стакана и морщась от горячего пара.

Никогда это ее в нем не раздражало. А сейчас, при виде того, как это делает дочь, ее вдруг замутило, и она поскорее вышла из комнаты.

На следующий день, рано утром, проводив Люську в шко-

лу, Мария быстро собралась и уехала в Энск. Прямо из автобуса, не заходя в отчий дом, она сразу пошла на кладбище. Долго прибирала могилы, обновила серебрянкой ограды, посадила маленькие вечнозеленые туи и устало поплелась обратно. Она долго шла к родительскому дому, удивляясь, как изменился город и знакомые улицы. На улицах и набережной было тоскливо и пусто – курортный сезон уже закончился, и закончилась, собственно, «жизнь». Не играла громкая музыка, не кричали зазывно фотографы и продавцы сладкой ваты, не пахло терпкими духами от проходивших нарядно одетых дам и не блистали голодными глазами одинокие мужчины, надеявшиеся на бурный, но короткий курортный роман.

Мария присела на влажную скамейку и расстегнула воротник осеннего пальто. Ветер, подвивая, весело гнал по пустынной набережной обрывки газет и прочего мусора.

Жизнь замерла, словно остановилась. Город словно впал в зимнюю спячку в ожидании следующего лета. Впрочем, так оно и было – городок уныло дремал. Он просыпался только к весне, как всякий курорт. Вот тогда хозяева домов и хижин, картонных «шанхаев» и дырявых сарайчиков, не слишком приспособленных для жилья и все же в сезон идущих на ура, лениво прибирались, красили окна и двери, доставали ветхое, старое белье – для снимающих – и пыльные сковородки, отжимавшие в холодных и захламленных сараях.

Мария перевела дух и двинулась к родному дому, не наде-

ьясь, впрочем, ни на что хорошее. Остановилась у знакомой калитки и, вытянув шею, стала вглядываться в глубь двора. Было тихо. Она толкнула калитку и вошла во двор. Главное место дома – любого южного дома – большая летняя кухня, или веранда – большое пространство, где до холодов варились обеды, пенились в медных тазах душистые варенья, пеклись пироги, мылась посуда, и вся семья собиралась за столом, где болтались весь день дети, выпрашивая у хлопочущих женщин то хлеб, то конфеты, где молча садились за стол уставшие после работы мужчины и важно дули на огненное жаркое, летний «зал» – земляной пол, навес – был пуст. Наступило холодное время, и вся жизнь переместилась, естественно, в дом.

Мария села на лавку и оглядела до боли знакомое место. Дверь распахнулась, и на пороге появилась молодая женщина, кутающаяся в огромный пуховый платок.

– Вам кого? – недовольно спросила она.

Мария вздрогнула, поднялась с лавки и тихо сказала:

– Да никого. Уже – никого.

И быстро пошла к калитке.

Женщина спустилась со ступеньки и выкрикнула ей вслед:

– А вы, собственно, кто?

– Уже никто, – откликнулась Мария, торопясь выйти на улицу.

Хлопнула калитка, и молодая женщина окинула взглядом веранду. «Странная тетка, – подумала она, – чудная ка-

кая-то. Может, воровка? Аферистка, может? Сколько их сейчас расплодилось! Хотя... – она тяжело вздохнула, – господи, да что тут брать? Старые кастрюли и сковородки?»

Она снова вздохнула и с удовольствием открыла дверь в дом. Запахло знакомым теплом, и громко заплакал ребенок.

На автобусной станции Мария почувствовала, что сильно проголодалась. В буфете она взяла пирожок и горячий чай в картонном стаканчике. Замерзшие руки слегка согрелись.

В автобусе она прислонилась к стеклу и тут же заснула.

Люська внимательно разглядывала уставшую мать. Мария, не глядя на дочь, молча разувалась в прихожей.

– Ну, – требовательно начала Люська, – и где же тебя носило?

– В Н. ездила. На кладбище, – сухо отчиталась Мария и пошла на кухню.

Люська вздохнула и снова уселась у телевизора.

– Этот приходил, – выкрикнула она, – твой! Целых три раза!

Мать не ответила.

Две недели в дверь настойчиво звонили. Мария не открывала и в окно не выглядывала. Просто прибавляла звук у работающего целый день телевизора.

Однажды, придя из школы, Люська увидела, как мать, стоя на стремянке, переклеивает обои.

– Ничего себе! – сказала она вслух и принялась собирать с пола обрывки старых газет.

Две недели Мария ожесточенно терла кастрюли, скребла сковородки, перестирывала шторы и скатерти.

Дальше принялась варить варенье из поздних фруктов – кизила и айвы. Сетовала, что «пропустила» помидоры и перцы, рассказывая дочке, «какие грандиозные запасы» делали ее тетки.

– Так там была семья! – отозвалась Люська, макая баранку в плоску с пенкой от варенья. – А у нас что? Кому это есть?

Мария вздрогнула и присела на стул.

«Там – семья! А у нас что?» – звенели в ушах слова дочки.

Что у нас? Что? Что есть у нее, у Марии? К чему эти хозяйственные подвиги?

К чему вся ее жизнь? Когда в ней нет никакого смысла...

Раньше у нее была работа, и был *он*... А сейчас? Да, у нее есть дочь. Но дочь эта... Человек пустой и ненадежный. Вспорхнет, и как не было. Мария вспомнила, как плакал отец, когда она уезжала. И как ей хотелось вырваться на свободу... и нет от Люськи никакого тепла... Такая же бессердечная, как и ее отец...

Про работу Мария старалась не думать. И все же снилась ей операционная, тонкое позвякивание инструмента и его глаза. Слов им уже не требовалось – она понимала его с полувзгляда. И он рассказывал всем, что операционная сестра – это важнее, чем жена. Потому что партнер. Потому что помощник. Говорил, что завидует сам себе.

И все же эти сны были лучше, чем те, которые изводили ее всю ее жизнь. Те были страшнее.

Теперь, идя на базар или на почту, Мария обходила тот дом стороной – не дай бог, кого-нибудь встретить. Не дай бог, встретить его!

Однажды увидела в магазине знакомую докторшу. Та, разумеется, набросилась с вопросами.

Мария сухо ответила – просто устала. Ноги больные, стоять тяжело. Хочу отдохнуть, а там – посмотрим. Может, найду работу полегче. Пойду в медпункт на вокзале. Или в поликлинику на прием.

Докторша с сомнением посмотрела на Марию и почему-то покачала головой.

Люська, видя хозяйственное рвение матери, бросила однажды со смехом:

– Ты б еще свиней завела! А потом – на базар!

Мария застыла с поварешкой в руках, посмотрела на дочь и задумалась. А наутро пошла в сараюшку.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.